

И.А. Виноградов (Москва, Россия)

**«Романтик» Поприщин:
История замысла повести Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего». Часть 1**

Аннотация: Статья посвящена изучению замысла одного из наиболее сложных в интерпретации произведений Н.В. Гоголя, «петербургской» повести «Записки сумасшедшего». Сочетание в дневнике сходящего с ума героя стихии безумия, комизма, романтического алогизма, авторской иронии, сатиры и высокого трагического пафоса придает этому произведению характер художественной загадки, решение которой возможно лишь с помощью последовательного комплексного подхода. Детально рассматриваются многочисленные реминисценции в произведении образов мировой литературы, современной Гоголю журналистики и художественной словесности. Обобщаются многолетние наблюдения исследователей над поэтикой гоголевской повести. Устанавливается связь «Записок сумасшедшего» с поэмой «Мертвые души» и «Размышлениями о Божественной Литургии». Подробно исследуется развернутая в повести полемика Гоголя с европейским романтизмом. Игровой «духовности» романтиков, оставляющей человека на произвол воображения и субъективных мнений, Гоголь противопоставляет подлинно духовное понимание жизни, основанное на Священном Писании и церковном предании. Статья является продолжением, на новом материале, исследовательской работы, начатой в 2022 г., – «Немецкий романтик В.Г. Вакенродер и XX век: художественное предвидение Н.В. Гоголя» (напечатано в сборнике ИМЛИ РАН «Литературный процесс в России XVIII–XIX вв. Светская и духовная словесность»). Предпринята попытка представить целостную концепцию произведения и широкий спектр плодотворной исследовательской мысли в его истолковании. Работа состоит из пятнадцати разделов: 1. Проблемы интерпретации повести; 2. Предыстория и история создания «Записок сумасшедшего»; 3. «Душевный город» «Записок...»; 4. Праздность, взяточничество, угроза «распеканья»; 5. Диктат моды, волокитство; 6. Пренебрежение духовным возрастанием; 7. Тщеславие и возможность покаяния; 8. От «Записок сумасшедшего» к «Мертвым душам» и «Размышлениям о Божественной Литургии»; 9. Псевдокультура; 10. «Донкишотство»; 11. Сервантес и Ариосто; 12. Круг романтизма: поэзия, политика, философия, мистика; 13. «Записки сумасшедшего» и романтическое безумие; 14. Поприщин и музыка; 15. «Народное богословие». В настоящей публикации представлены одиннадцать из пятнадцати разделов. Продолжение статьи и список литературы печатаются в следующем номере журнала.

Ключевые слова: Н.В. Гоголь, биография, творчество, религиозно-политические взгляды, обличение, сатира, авторский замысел, интерпретации, безумие, романтизм, культурология, духовное наследие

**“Romantic” Poprishchin:
History of the Concept of N.V. Gogol Story “Diary of a Madman”. Part 1**

Abstract: The article is devoted to the study of the hardest for interpretation N.V. Gogol's works the “St. Petersburg” story “Notes of a Madman.” The diary of a hero going crazy presents the combination of the elements of madness, comedy, romantic alogism, authorial irony, satire and high tragic pathos that gives this work the character of an artistic riddle, the solution of which is possible only with the help of a consistent integrated approach. Numerous reminiscences in the work of images from world literature, contemporary journalism and artistic literature are examined in detail. The long-term observations of researchers on the poetics of Gogol's story are summarized. A connection is established between “Notes of a Madman” and the poem “Dead Souls” and “Reflections on the Divine Liturgy.” Gogol's polemic with European romanticism developed in this work is explored in detail. Gogol contrasts the playful “spirituality” of the romantics, which leaves a person to the mercy of imagination and subjective opinions, with a truly spiritual understanding of life, based on the Holy Scriptures and church tradition. The article is a continuation, based on new material, of a research work begun in 2022 – “German romantic V.G. Wackenroder and the 20th century: artistic foresight N.V. Gogol” (published in the collection of the IWL RAS “Literary process in Russia in the 18th–19th centuries. Secular and spiritual literature”). An attempt has been made to present a holistic concept of the work and a wide range of fruitful research thoughts in its interpretation. The work consists of fifteen sections: 1. Problems of interpretation of the story; 2. Background and history of the creation of “Notes of a Madman”; 3. “Soulful City” “Notes...”; 4. Idleness, bribery, threat of “scolding”; 5. Diktat of fashion, red tape; 6. Neglect of spiritual growth; 7. Vanity and the possibility of repentance; 8. From “Notes of a Madman” to “Dead Souls” and “Reflections on the Divine Liturgy”; 9. Pseudoculture; 10. “Donquixoticism”; 11. Cervantes and Ariosto; 12. The circle of romanticism: poetry, politics, philosophy, mysticism; 13. “Notes of a Madman” and romantic madness; 14. Poprishchin and music; 15. “Popular theology”. Eleven of the fifteen sections are presented in this publication. The continuation of the article and the list of references will be published in the next issue of the journal.

Key words: Nikolai Gogol, biography, creativity, religious and political views, exposure, satire, author's intention, emotional, madness, romanticism, cultural studies, spiritual heritage

1. ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОВЕСТИ

Повесть Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего» написана в жанре дневника, ежедневных записок мелкого петербургского чиновника и содержит в себе, согласно авторскому замыслу, нелицеприятное обличение героя. Художественное изображение негативных черт городского обывателя происходит в его подчеркнуто неконтролируемом, произвольном саморазоблачении, совершающемся от первого лица. Душевная исповедь обличаемого, будучи выставлена на всеобщее обозрение, становится исповедью публичной, пользу от которой должен получить, само собой разумеется, не литературный герой (выведенный в качестве поучительного примера), а читатель произведения – дневника-исповеди.

Своих героев сам Гоголь называл единым «душевым городом» автора и читателя (III/IV, 492). По убеждению писателя, «зеркало» дневника дает каждому возможность избавления от своих недостатков, в том числе с помощью смеха. Такой откровенный дневник сам Гоголь вел, впоследствии его уничтожив [Виноградов 2020b]. В 1844 г., словно приоткрывая историю создания «Записок сумасшедшего», Гоголь в частном письме к А.О. Смирновой советовал ей «во все минуты <...> глупых состояний духа» «записывать такое состоянье»: «Пусть, как в зеркале, останется там все малодушие и все ваше ничтожество, так, чтобы потом <...> могли бы себе же показать это зеркало и увидеть в себе всю свою презренность...»¹. В этом смысле «исповедь», или откровенный дневник, являются, согласно признаниям самого Гоголя, основой его так называемой «сатиры», т. е. художественного произведения, в котором пороки и недостатки предстают в своем истинном «презренном» виде [Виноградов 2022d].

Как повесть одновременно исповедального и сатирического характера «Записки сумасшедшего» занимают в гоголевском творчестве особое место. Сугубую сложность это произведение представляет прежде всего для интерпретации. Любой художественный образ, и без того многозначный, попадая в «амбивалентную» смеховую среду, становится еще более «полифоничным», и выявить его смысловую направленность бывает порой затруднительно. Но понимание «Записок сумасшедшего» осложняется еще и тем, что это произведение изображает безумие. Проблема сумасшествия, как и проблема смеха, тоже носит амбивалентный характер. Кроме очевидных случаев, атмосфера смеха и картина психического алогизма в равной мере часто не позволяют указать определенно, в чем заключается для автора та конкретная «норма», точка отсчета, исходя из которой он оценивает своего героя, что является в произведении предметом обличения. Это порождает разноречия в оценках художественных образов, тем более если они, как в гоголевской повести, одновременно принадлежат и смеховой, и абсурдной стихиям. Объективно судить об авторском понимании произведения, интуитивно угадываемом читателем, возможно лишь с помощью разнообразных реминисценций, мотивов, образов, источников, через определение круга чтения писателя, используя авторские оценки, изложенные в письмах, с привлечением широкого исторического, культурного, религиозного и биографического контекста. Комплексный подход в интерпретации образа позволяет избежать произвольных толкований и предложить научно аргументированную реконструкцию творческого замысла.

Важность такого подхода многократно возрастает оттого, что проблема осмысления творчества Гоголя стоит в настоящее время особенно остро. После продолжительного периода искусственного «единства» в толкованиях гоголевского наследия, объясняемого внешними причинами, – ныне в понимании Гоголя царит отнюдь не плодотворное разноречие. Наука без принудительного руководства во многом продолжает следовать привычным схемам, а новейшие, неадекватные предмету исследования «методологии», вроде «гендерной» или «теории литературных репутаций», только добавляют хаоса в общую картину [Виноградов 2023a].

Тем не менее, несмотря на сложность, наука подступает ныне к тому рубежу, который подводит итоговую черту эпохе, отличительной чертой которой, применительно к творчеству Гоголя, было ангажированное искажение смысла русской

¹ Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. и писем: В 17 т. (15 кн.) / Сост., подгот. текстов и коммент. И.А. Виноградова, В.А. Воропаева. М.: Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2009. Т. 12. С. 557. В дальнейшем сочинения и переписка Гоголя цитируются по этому изданию. Ссылки на него даются в тексте статьи с указанием в скобках тома и страницы.

классики в угоду политической тенденции. Радикальное направление в интерпретациях гоголевского наследия было задано еще при жизни Гоголя его давним «совопросником» В.Г. Белинским. Такой подход господствовал на протяжении XIX и XX вв. Таким образом, хотя со времени кончины Гоголя прошло уже более ста семидесяти лет, только нынешнее время позволяет более или менее объективно подойти к изучению вопроса о том, что в действительности представляет собой наследие Гоголя.

«Записки сумасшедшего» являются в этом ряду одним из наиболее «ключевых» произведений. Их содержание, в свою очередь, подвергалось в истекшую эпоху радикальным, вульгарно-социологическим интерпретациям. Важнейшие особенности повести, сочетающей в себе стихии комизма и алогизма, предсказуемо истолковывалась в обязательном соответствии с требованиями «социального» заказа. Комментаторы XX в. утверждали, будто «Записки сумасшедшего» являются «сатирическим выступлением против бездушной системы николаевского бюрократизма» [Комарович 1938: 705]; «критикой дворянско-крепостнической современности» [Фридлиндер 1961: 70]. За редкими исключениями, предвзятый подход заведомо исключал научный анализ содержания повести, изучение истории ее создания и характера авторского замысла. Настало время восполнить этот пробел. Существенным подспорьем здесь служат многочисленные наблюдения над содержанием «Записок сумасшедшего» исследователей последних лет, которые, в свою очередь, нуждаются, однако, в осмыслении и обобщении¹.

2. ПРЕДЫСТОРИЯ И ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ «ЗАПИСОК СУМАСШЕДШЕГО»

Тема безумия так или иначе была значима для Гоголя от самой юности. По воспоминаниям его школьных товарищей, еще будучи в Нежине, он сам дважды искусно притворялся помешанным: один раз, в 1823/24 учебном году, – чтобы избежать наказания [Виноградов 2017–2018. 1: 415]; в следующем, в 1824/25 г., – чтобы получить свободное время для литературных занятий [Виноградов 2017–2018. 1: 450–451] (см. также: [Кузнецов 1992: 38]). Кроме того, в мае 1824 г. пятнадцатилетний Гоголь ввел в ненормальное состояние соученика М.А. фон Риттера, внушив тому, что у него «бычачьи глаза» [Виноградов 2017–2018. 1: 420]². «Ненормальное» состояние целого общества стало предметом сатирического изображения Гоголя в юношеском произведении «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан» (1826), в котором, по свидетельству одного из школьных товарищей Гоголя, каждое «сословие наиболее выказывало характеристические черты свои» [Виноградов 2017–2018. 2: 577]. Однако сам Гоголь серьезного значения сатире на нравы Нежина не придавал и вскоре ее уничтожил.

Тема безумия становится одной из «сквозных» с переездом Гоголя в Петербург. Образ обезумевшего героя появляется в первой его напечатанной повести «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала» (произведение создавалось в ноябре 1829 – январе 1830 г.). Героя «Бисаврюка...» – безродного казака Петруся,

¹ В работе использованы обширные библиографические труды по творчеству Гоголя и, конкретно, исследованиям гоголевской повести, выполненные В.А. Воропаевым.

² Позднее, в 1852 г. доктор А.Т. Тарасенков, наблюдавший Гоголя во время его предсмертной болезни, завел разговор с ним о «Записках сумасшедшего»: «Рассказав, что я постоянно наблюдаю психопатов и даже имею их подлинные записки, я пожелал от него узнать, не читал ли он подобных записок прежде, нежели написал это сочинение. Он отвечал: “Читал, но после”. – “Да как же вы так верно приблизились к естественности?” – спросил я его. “Это легко: стоит представить себе”...» [Виноградов 2017–2018. 7: 233].

теряющего рассудок от страсти к девушке и богатству, при участии демонических сил, – можно в полной мере назвать отдаленным прототипом героя «Записок сумасшедшего».

С декабря 1830 г. по июль 1831 г., т.е. на протяжении нескольких месяцев, Гоголь исполнял обязанности домашнего учителя умственно неполноценного ребенка, сына княгини А.И. Васильчиковой [Виноградов 2023b]. На этот период приходится активная работа Гоголя над циклом повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». Здесь появились новые «прототипические», относительно будущей повести о сумасшедшем, персонажи. Ближе всего к страдающему безумцу Поприщину стоит безумная Катерина в «Страшной мести», утратившая разум от потери мужа и сына и ни о чем не помышляющая, кроме мести. Тут же выведен безумный, по своим поступкам и одержимости темными силами, колдун – и его радикальный «антагонист» – ожесточенный всадник-мститель. Ненормально, с точки зрения евангельских заповедей и гражданских законов (запрещавших колдовство и волхвования), ведут себя еще несколько героев раннего гоголевского цикла: в «Ночи перед Рождеством» — пузатый колдун Пацюк, отчаянный Вакула (едва не совершающий самоубийство), самовлюбленная красавица Оксана; в «Майской ночи...» – жаждущая мести самоубийца-утопленница, сельские «дворяне»-честолюбцы, претендующие на место «головой» (предвосхищающие тем самым стремление в «испанские короли» Поприщина). Неразумен герой повести «Иван Федорович Шпонька...», обращающийся к гадательной книге. Мотив сумасшествия воплощается в «Вечерах...» и в той потере рассудка от страха, который испытывают суеверные герои «Вечера накануне Ивана Купала», «Сорочинской ярмарки», «Страшной мести», являющиеся в этом отношении «прообразами» будущих грешников-чиновников, объятых страхом в «немой сцене» «Ревизора» [Виноградов 2022а: 72]. Так или иначе все герои «Вечеров...» представляют отклонение от нормы; уже в этом цикле формируется, после опыта юношеской сатиры «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан», духовный взгляд Гоголя-сатирика, обличителя «пошлости» как психического и нравственного «уродства». Непосредственно «уродом» – «черепахой в мешке» (III/IV, 168) – назван Поприщин в «Записках сумасшедшего». В целом в гоголевских обличительных произведениях проявляется «саркастическая» сторона таланта писателя (VI, 238), которая, сравнительно с «лирической» (VI, 238), воплощенной с наибольшей силой в «Тарасе Бульбе» (герои которого, однако, тоже не лишены недостатков), являет «безумие пред Богом» «мира сего» (1 Кор. 3, 19) (цит. по изд. 1822 г.: [Новый Завет: 632]).

С ближайшей предысторией создания «Записок сумасшедшего» обычно связывают свидетельство П.В. Анненкова. Познакомившийся с Гоголем в первой половине сентября 1833 г. тот наблюдал, как писатель беседовал с одним из своих гостей о «привычках сумасшедших». Позднее, в 1857 г., Анненков вспоминал: «В первый раз, как я попал на один из чайных вечеров его, <...> в числе гостей был у него пожилой человек, рассказывавший о привычках сумасшедших, строгой, почти логической последовательности, замечаемой в развитии нелепых их идей. Гоголь подсел к нему, внимательно слушал его повествование, и когда один из приятелей стал звать всех по домам, Гоголь возразил, намекая на своего посетителя: “Ты ступай... Они уже знают свой час, и когда надобно, уйдут”. Большая часть материалов, собранных из рассказов пожилого человека, употреблены были Гоголем потом в “Записках Сумасшедшего”» [Виноградов 2017–2018. 2: 247].

Несмотря на указание Анненкова, связавшего беседы Гоголя в 1833 г. с «пожилым человеком» с работой над «Записками сумасшедшего», более вероятно, что тогдашний гоголевский интерес к теме безумия на самом деле диктовался работой не над «Записками сумасшедшего», а над комедией «Владимир 3-ей степени» (начатой летом 1832 г.). Главным героем этой незавершенной комедии тоже был сумасшедший. Это уточнение тем более основательно, что сам Анненков слышал тогда же, в сентябре 1833 г., фрагмент из финала «Владимира 3-ей степени». Об этом в мемуарах о Гоголе 1857 г. он, однако, сообщить упустил, дополнив сведения лишь четыре года спустя, в 1861 г., в частной беседе с А.Н. Афанасьевым (см.: [Вишневская: 60; Виноградов 2017–2018. 2: 248]). Причины умолчания о важном факте творческой истории «Владимира 3-ей степени» заключались, по всей видимости, в том, что Анненков, будучи убежденным западником, стремился настоять, вслед за Белинским, на разности между «ранним» и «поздним» Гоголем, тогда как обращение в ранней комедии к евангельским образам этому делению писателя на две половины препятствовало [Виноградов 2017–2018. 3: 522]. В финале незавершенной пьесы герой, обуреваемый тщеславием, воображал себя «Владимирским крестом» – растопыривал в виде креста руки, – т. е. распинаемый страстями, всходил на мирскую «голгофу», являл собой сумасшедшего мученика, терзаемого тщеславием¹.

3. «ДУШЕВНЫЙ ГОРОД» «ЗАПИСОК...»

Написанные в июле-сентябре 1834 г. «Записки сумасшедшего» Гоголь поместил в сборник «разных сочинений» «Арабески» (1835). Повесть стала завершающей в цикле. Позднее Гоголь включил «Записки сумасшедшего» в третий том «Сочинений...» 1842 г. Контекст двух разновременных циклов, в котором оказывается повесть, указывает на то, что ее содержание тесно связано с устойчивой, «сквозной» проблематикой гоголевского творчества. В «Арабесках» «Записки сумасшедшего» как повесть о мнимом мученичестве составляла, с одной стороны, контраст теме подлинного мученичества, воплощенного в образах исторических повествовательных отрывков «Пленник» и «Глава из исторического романа» [Виноградов 2021b: 276–277]; с другой – «ералаш», царящий в голове сумасшедшего, являл продолжение критики «раздробленного» современного сознания, определившей самую композицию и содержание «Арабесок» в целом [Виноградов 2021b: 282–288]. Последующее положение «Записок...» в составе «Сочинений...» с еще большей очевидностью обнаружило общемировой контекст, в котором рассматривал Гоголь в «Арабесках» и других произведениях «петербургскую» тему [Виноградов 2000: 207–274; 2001a; 2009].

Само имя, которое дает Гоголь своему герою, говорит о жизненной важности тем, затрагиваемых в повести. «Престранное» фамильное прозвище *Поприщин*, по-видимому, призвано указывать на то, каким *должно* быть, согласно наставле-

¹ В одном ряду с безумием героев «Владимира 3-ей степени» и «Записок сумасшедшего» находится также крайнее, близкое, по Гоголю, к помешательству поведение героев «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Повести о капитане Копейкине», «Шинели», – героев, тоже одолеваемых либо соблазнами, либо нуждой (либо тем и другим одновременно). Зарождение замыслов двух из указанных повестей – «Повести о ссоре» и «Шинели» – Анненков тоже, по его воспоминаниям, наблюдал в первой половине сентября 1833 г. [Виноградов 2017–2018. 2: 248]. Все вместе это говорит о тесном переплетении творческих начинаний Гоголя в 1833 г., так что жизненные наблюдения, сделанные для одного произведения, вполне могли вскоре стать основой для другого, близкого по содержанию сочинения о герое, одолеваемом, до сумасшествия, своими страстями.

нию апостола, подлинное гражданское служение чиновника – в отличие от избранных недостойного поведения: «...Свергнем с себя всякое бремя и запинаящий нас грех, и с терпением будем пробегать предлежащее нам *поприще*» (Евр. 12, 1) (цит. по изд. 1822 г.: [Новый Завет: 825]; курсив мой. – *И.В.*) (см. также: [Паламарчук 1990b: 425]). Еще в 1828 г. Гоголь писал матери из Нежина: «Как угодно почитайте меня, но только с настоящего моего *поприща* вы узнаете <...>, что я всю жизнь свою обрек благу» (X, 84; курсив мой. – *И.В.*). Как и в гоголевском письме, в имени героя подразумевается не столько карьера, область деятельности человека, сколько прохождение жизненного *поприща*, исполнение христианского долга и самого назначения человека, которые в судьбе петербургского обывателя подвергаются извращению.

Как и другие неидеальные герои Гоголя, чиновник Поприщин представляет собой очевидного духовного «недоросля» [Виноградов 2000: 151–156]. В душевной болезни героя «Записок...» изображается не физиология и особенности нарушенной от физических причин психики, но духовная патология личности, избравшей главной жизненной ценностью личное самоутверждение. Вместо добросовестного служения в своей должности – дарованными Богом талантами – герой живет, исключительно следуя своим страстям, «по человеческим похотям», «по воле языческой» (1 Петр. 4, 2–3). Мечтающий о генеральской дочери, Поприщин уподобляется герою напечатанной одновременно в сборнике «Миргород» другой гоголевской повести – предателю Андрию в «Тарасе Бульбе», предавшему свой долг в «служении» польской панне, или художнику Пискареву в «Арабесках», в повести «Невский проспект», погубившему свой талант (и себя самого) в любви к падшей красавице. В «Записках сумасшедшего» пренебрежение долгом ради удовлетворения страстей «суммируется» в ироническом замечании Поприщина о таком же, как он сам, мнимо-«благородном» чиновнике, подмеченном им на улице: «На улицах <...> никого; <...> только бабы, <...> купцы <...>, да курьеры... <...> Из *благородных* только наш брат чиновник... <...> “...Ты *не в департамент* идешь, ты спешишь вон за тою, [что приподняла немного свое платье и показала в мгнове<ние> икры свои] что бежит впереди, и глядишь на ее ножки”» [Гоголь 1937–1952. 3: 194, 554; курсив мой. – *И.В.*] (последний, «соблазнительный», мотив значим для еще целого ряда произведений Гоголя: юношеской романтической поэмы «Ганц Кюхельgarten», повестей «Нос», «Шинель»; поводом для его появления в «Записках...» стало посещение Гоголем в сентябре-ноябре 1833 г. выставки Императорской Академии художеств; см. об этом: [Виноградов 2017–2018. 2: 263–264]).

Бездельное существование героя, одолеваемого соблазнами, Гоголь еще раз изобразил в невольном «самопризнании» Поприщина, высказанном в перепалке с начальником отделения: «“Ну, скажи пожалуйста, что ты делаешь?” – “Как что? Я *ничего* не делаю”... <...>. “<...> Ведь ты волочишься за директорскую дочерью...”» (III/IV, 162; курсив мой. – *И.В.*). Герой комедии Гоголя «Игроки», слуга Гаврюшка, сходным образом замечает о барине: «Да как что делает? Известно, что делает. Он уж барин, так держит себя хорошо: он ничего не делает» (III/IV, 372).

Согласно авторскому замыслу, «Записки сумасшедшего», как и другие произведения Гоголя, составляют в совокупности единый «душевный город» (см.: [Виноградов 2018a: 66–68; 2024b: 34–38]). Представление об этом едином «городе» связано с размышлениями Гоголя об органическом единстве мира, а также о человечестве как целостном организме, связанном взаимопроникающими «за-

конами отраженья» [Виноградов 2017–2018. 4: 278–279; 2021b: 281]. Согласно наблюдениям писателя, по «неизменным законам отраженья» (V, 157) в обществе существуют как высокие понятия, так и низменные соблазны; передаются многочисленные явления культуры, литературы, быта, моды, цивилизации, привычек, образа мышления, поведения, воспитания, рекламы и пр. Применительно к «Запискам сумасшедшего» это представление проявляется, во-первых, в том, что каждая черта «душевного города» повести воплощается в облике самого главного героя, во-вторых, отражается в лицах, составляющих его ближайшее окружение¹.

Круг душевных «двойников» Поприщина составляют практически все действующие лица повести: главный начальник по службе, «государственный человек» – директор департамента; непосредственный начальник – глава департаментского отделения; казначей департамента; рядовой чиновник, встреченный на улице; жених директорской дочери «камер-юнкер» Теплов, – вплоть до «испанского короля». Двойничество сказывается в образах генеральской дочери и родственной ей «говорящей» собачки *Меджи* (уменьш. от лат. «маргерет» – жемчужина, перл), в светских «манерах», «кавалерах» и «куртизанах». В повести «собаки <...> становятся “дамами”, <...> подают надежды стать “приятными во всех отношениях”» [Светлакова: 432]. Слово, которое трижды употребляет герой при мысли о директорской дочке, – «эх, канальство!» (III/IV, 160, 163, 166) – восходит к латинскому слову «сапе» – собака и произведенному от него французскому «canaille» – свора собак; сброд; негодяй, каналья. Меджи по поводу малосущественных отличий женихов ее хозяйки, сравнивая их с Поприщиным, замечает: «...Если камер-юнкер нравится, то скоро будет нравиться и тот чиновник, который сидит у папá в кабинете» (III/IV, 168). О доме *Зверкова*², в котором обитает собачка Фидель, говорится: «Какого в нем народа не живет: <...> а нашей братьи чиновников – как *собак*, один на другом сидит» (III/IV, 160; курсив мой. – *И.В.*) (отмечено: [Савинков, Фаустов: 175]). «Двойничество» героя с говорящим собачьим миром заключается также в одинаковом «писательстве» Поприщина и Меджи³.

¹ О душевном двойничестве Гоголь размышлял еще в 1820-х гг. В марте 1827 г. он писал Г.И. Высоцкому из Нежина в Петербург: «Часто <...> мысленно перескакиваю в Петербург: сижу с тобою в комнате, брожу с тобою по бульварам, люблюсь Невою, морем. Короче я делаюсь ты» (X, 51). О таком же перевоплощении Гоголь еще раз напоминал Высоцкому в том же году в июньском письме: «Ты теперь в зеркале видишь меня» (X, 63). В 1832 г. – после многочисленных авторских «перевоплощений» в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» (перевоплощений, понадобившихся для создания художественных образов), – Гоголь писал А.С. Данилевскому: «Я <...> бы желал на время принять твой образ с твоими страстишками и взглянуть на других таким же взором, <...> каким глядишь ты...» (X, 173). Дьяк-рассказчик Фома Григорьевич в «Пропавшей грамоте» сообщает о своих повествованиях: «...Чудится, что вот-вот сам все это делаешь, как будто залез в прадедовскую душу, или прадедовская душа шалит в тебе» (I/II, 154).

² Реальный дом купца И.М. Зверкова, где в 1829–1831 гг. жил сам Гоголь [Виноградов 2017–2018. 2: 51, 103, 111–113] (см. также ниже раздел 5).

³ См. об этом ниже, в разделе 13. – В переписке собачек, вероятно, нашло отражение содержание писем к Гоголю его сестры Елизаветы, обучавшейся вместе с сестрой Анной в петербургском Патриотическом институте благородных девиц. «Когда брат не бывал с нами, – вспоминала Елизавета Васильевна, – мы часто писали ему, и мои письма всегда были наполнены пустяками: я была в дружбе с собаками и всегда переполняла свои письма рассказами о своих любимцах, передавала ему от них поклоны и прочее» [Виноградов 2017–2018. 2: 155]. – В свою очередь, в упоминании о скатанных хлебных шариках, которыми угощает собачку один из гостей (которые та ест «с отращиванием»), отзывается привычка самого Гоголя отрывать «кусочки хлеба и скатывать его в шарики» [Виноградов 2017–2018. 3: 597]; «выламывать из хлеба мякиш и катать из него шарики, которые <он> или бросал в кого-нибудь из сидящих за столом, преимущественно младших членов семьи, или опускал в стакан, или же оставлял у себя за прибором» [Виноградов 2017–2018. 3: 595]; писать,

Признания собачки Меджи о ее ухажерах и сравнение их с женихом самой хозяйки – и даже с ее отцом, «который тоже довольно высокого роста и толст собою», как «страшный дога» (III/IV, 167), – прямо перекликаются с выбором женихов невестой Агафьей Тихоновной в «Женитьбе». Как и у собачки Меджи, выбор определяется исключительно физиологией. Меджи пишет приятельнице: «“Куда ж, – подумала я сама в себе, – если сравнить камер-юнкера с Трезором!” <...> ...У камер-юнкера совершенно гладкое широкое лицо <...>; а у Трезора мордочка тоненькая...» (III/IV, 168). Выбор купеческой дочери Агафьи Тихоновны в свою очередь заключается между «губами» Анучкина, «носом» Подколесина, «развязностью» Жевакина и «дородностью» Яичницы (III/IV, 168).

Вполне материальными соображениями, хотя несколько иного рода, руководствуется, со своей стороны, директор департамента, который хочет видеть дочь «за генералом, или за камер-юнкером, или за военным полковником» (III/IV, 168). В «Мертвых душах» Гоголь, размышляя о судьбе героини с похожим «социальным статусом» – губернаторской дочке (на нее полувлюбленно-полурасчетливо имеет виды герой-стяжатель «Мертвых душ», «дворянин» Чичиков), – замечал: «Она теперь как дитя... <...> Из нее все можно сделать, она может быть чудо, а может выйти и дрянь, и выйдет дрянь!» (V, 90).

Все образы повести представляют – каждый с своей стороны – единое «петербургское» пространство, характерные образ жизни и среду обитания «просвещенных» столичных жителей. В герое «Записок сумасшедшего» Гоголь повторяет ряд типичных черт «среднего» чиновника, которые он обозначал в образах нерадивых служащих не только в этой повести, но и в других произведениях [Виноградов 2020a].

Речь идет при этом не об обличении государственного аппарата как такового, а о недостойных исполнителях должности, о дискредитации недобросовестными чиновниками законной власти. Главной для Гоголя в изображении неидеального «душевного города» мертвых душ является не политическая, а духовная составляющая. Уже в 1836 г. Гоголь указывал на «плутов, которые тихомолком употребляют в зло благо, изливаемое на нас правительством <...>, которые превратно толкуют наши законы, которые под личиною кротости под рукою делают делишки не совсем кроткие» («Петербургская сцена в 1835–36 г.»; VII, 508). Дискредитирующего власть представителя «местной администрации» – сельского «голо-

«катая шарики из белого хлеба, про которые говорил друзьям, что они помогают разрешению самых сложных и трудных задач» [Виноградов 2017–2018. 7: 83]. М.П. Погодин упоминал об этой привычке Гоголя в письме к нему от 8 апреля 1847 г.: «...За тобой водилось, – придумывать, катая шарики, разные мудреные вещи...» (XIV, 250).

Кроме того, в качестве источников для образов собачек указывалась романтическая литература, в частности роман Э.Т.А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра...» (см. подробнее об этом в разделе 12). В собачьих образах – и в некоторых других мотивах повести, – нашли отражение представления балаганного театра (см.: [Александрова 2001; 2011; Синицкая <Александрова> 2010; Денисов 2009: 474, 476, 480, 483]).

В повести, вероятно, сказалась также мода на собак, зародившаяся в XVIII в. и сразу отразившаяся в литературе, в том числе в переписке Екатерины II с Ф.М. Гриммом (где императрица описывает собачек как людей) и в эпистолярных «сочинениях» постельных собачек [Зайонц 2011: 359–363]. Сказалось также влияние Сервантеса [Светлакова 2011: 431–432]. Л.В. Пумпянский в 1923 г. предположил, что «сюжетным прототипом» переписки собак являются традиционные для драматических произведений «подкупленные слуги»: «...Domestiques <слуги; фр.> понижаются до степени animaux domestiques <домашние животные; фр.> (ибо, кроме слуг, других домочадцев быть не может)» [Пумпянский 1986: 123]. – Применительно к «просвещенным» собачкам это замечание следует уточнить, поставив в ряд с наблюдениями самого Гоголя (воплощенными в драматическом отрывке «Лакейская») о том, как слуги подражают хозяевам, – а хозяева, в свою очередь, по взаимной «пошлости», похожи на слуг.

ву» (строящего «пакости», но при этом напоминающего, что «голова поставлен <...> от царя»; I/II, 144, 151), Гоголь еще ранее – в 1831 г. – вывел в «Майской ночи...». В «Петербургской сцене...» он замечал также об «офицере, пустом человеке, бегающем за вечерними нимфами, или *вместо обязанностей службы* дебошничавшем где-нибудь в неприличном для русского офицера месте» (VII, 509; курсив мой. – *И.В.*; настоящие строки представляют собой очевидный авторский комментарий к образу поручика Пирогова в «Невском проспекте»). Позднее, в неотправленном письме к В.Г. Белинскому 1847 г., Гоголь подчеркивал: «...Правительство состоит из нас же: мы выслуживаемся и составляем правительство» (XIV, 386). «Мы все принадлежим Правительству, все почти служим...» – замечал он в «Театральном разъезде...» (1836–1842) (III/IV, 444). В одном из «Четырех писем к разным лицам по поводу “Мертвых душ”» Гоголь писал: «...Везде, куды ни обращусь, вижу, что виноват применитель, стало быть наш же брат...» (VI, 79).

Для бездельной, праздной жизни, какую ведет герой «Записок сумасшедшего», противоправительственное содержание мнимопросвещенного прозябания типично. Аналогом образа Поприщина являются столь же недостойные служащие, изображенные Гоголем в других произведениях: «Ревизоре», «Мертвых душах», «Шинели». Так, сумасшествие героя – крайнее тщеславие, приводящее его к мысли о своем «королевском» достоинстве, выводящее за рамки общественных отношений, – родственно с изображенными Гоголем противоправительственными бунтами чиновника Башмачкина и капитана Копейкина, а также изменой Городничего – отставного военного, бывшего защитника Отечества, ставшего «плутом» и «разбойником», – государственным интересам России и самому Государю. В изображении нерадивых чиновников Гоголь как бы буквально реализовал завет императрицы Екатерины II к сатирику Д.И. Фонвизину, упоминание о котором оставил ранее в «Ночи перед Рождеством» (1832): «Вот вам <...> предмет, достойный остроумного пера вашего!» (I/II, 202). Определена была и «цель», которую ставил Гоголь, изображая недостойного чиновника. В «Арабесках», в статье «О преподавании всеобщей истории», напечатанной первоначально в «Журнале Министерства Народного Просвещения» С.С. Уварова, Гоголь писал: «...Цель моя – образовать сердца юных слушателей <...>; сделать их <...> сподвижниками Великого Государя, чтобы ни в счастье, ни в несчастье не изменили они своему долгу, своей Вере, своей благородной чести и своей клятве – быть верными Отечеству и Государю!» (VI, 284). Применительно к «Запискам сумасшедшего», посвященным обличению тщеславного чиновника-«дворянина», конкретным авторским комментарием может служить замечание Гоголя в статье «Занимающему важное место» о том, какого отношения заслуживает такой чиновник. Здесь по поводу одного из «дворянских» недостатков – родовой кичливости – Гоголь замечал, что за похвальбу родовитостью недостойного представителя сословия «его же собратья дворяне» «на него выпускают тут же *эпиграмму*» (VI, 147; курсив мой. – *И.В.*). Такой авторской «эпиграммой» на героя, не по праву гордящегося своим дворянством, можно в известной мере назвать «Записки сумасшедшего».

4. ПРАЗДНОСТЬ, ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО, УГРОЗА «РАСПЕКАНЬЯ»

С первых строк повести Гоголь обращает внимание на праздное времяпрепровождение героев. Отлеживающийся вволю «на кровати» (III/IV, 161), Поприщин прямо «повторяет» этой чертой своего начальника, который не выходит из спальни даже до «половины первого» (III/IV, 161). Эта черта Поприщина «распростра-

няется» и на других представителей единого «города» «мертвых душ». Начало повести, где Поприщин открывает дневник с того, что служанка Мавра принесла ему вычищенные сапоги, сближает его с героем «Женитьбы», которая также начинается с разговора барина со слугой, в том числе о чистке сапог. Подколесин, как обычно, «лежит на диване с трубкой» (III/IV, 313), Поприщин – просыпается, когда «уже давно било десять» (III/IV, 158). Герой драматического отрывка Гоголя «Утро делового человека» тоже замечает: «Приезжаю к его высокопревосходительству – его высокопревосходительство еще спит» (III/IV, 407).

Общей чертой нерадивых чиновников является взяточничество. Эту тему Гоголь тоже затрагивает уже в начале повести. В одной из статей «Арабесок» Гоголь оставил прямой комментарий к завистливым мечтам Поприщина о «ресурсах» (III/IV, 158). Рассуждая поборах и взятках, которые берут чиновники на более «доходных» местах: в «губернском правлении, гражданских и казенных палатах», – герой замечает: «...Смотришь, иной прижался в самом уголку и пописывает. Фрагичка на нем гадкой, <...> а посмотри ты, какую он дачу нанимает! <...> С виду такой тихенькой, говорит так деликатно <...>, а там обчистит так, что только одну рубашку оставит на просителе» (III/IV, 158). Эти строки прямо повторяют характеристику чиновника-взяточника в статье Гоголя «Несколько слов о Пушкине». Несмотря на невыразительную наружность, тот по своей разбойнической деятельности сопоставим с «выразительным» «диким горцем». Последний «зарезал своего врага, <...> выжег целую деревню» – и потому «поражает» читателя, больше, «нежели наш судья в истертом фраке, запачканном табаком» (VII, 277). Между тем мздоимный чиновник на своем поприще «отличается» не менее разбойника-«горца», – «невинным образом, посредством справок и выправок», пустив «по миру множество всякого рода крепостных и свободных душ» (VII, 277)¹.

Общей для гоголевских героев-чиновников, не исполняющих свой долг, является тема постоянно висящей угрозы «ревизии» и начальственного «распеканья» (бесчисленного множества «переборок, распеканья, взбутетенивань и всяких должностных похлебок, которыми угощает начальник своих подчиненных» – согласно строкам девятой главы первого тома «Мертвых душ»; V, 186). Эта тема важна для судьбы Башмачкина в «Шинели», губернских и уездных чиновников в «Ревизоре» и «Мертвых душах» (отдельно – для Хлестакова и капитана Копейкина), а также других гоголевских героев [Виноградов 2020а: 253–254, 256, 273]. Эта тема затрагивается и в «Записках сумасшедшего», где Поприщин получает от начальника отделения соответствующие «выговоры»: «Ну <...> что ты делаешь? <...> ...Ведь тебе уже за сорок лет – пора бы ума набраться» (III/IV, 162); «...Что это у тебя, братец, в голове всегда ералаш такой? Ты иной раз метаешься, как угорелый, дело подчас так спутаешь, что сам сатана не разберет, в титуле поставишь маленькую букву, не выставишь ни числа, ни номера» (III/IV, 158).

¹ Гоголевское сравнение «дикого горца» с мнимоневинным чиновником проливает дополнительный свет на настоящее отношение автора к основанному на фальшивых «справках и выправках» (V, 232) мошенничеству главного героя «Мертвых душ» – «любезнейшего и обходительнейшего» Чичикова (V, 19), ревностного исполнителя «священнейшего долга» светского «комильфо». Такими же «деликатными» разбойниками оказываются, по Гоголю, в отношении к своим крепостным и живущие по своим прихотям европейски «просвещенные» помещики. Об этом Гоголь размышлял в отдельном наброске к «Мертвым душам»: «...Иные, живущие по столицам, <...> образованные и начитанные, и тонкого вкуса и примерно человеколюбно-бивые, беспрестанно заводящие всякие филантропические заведения, требуют, однако ж, от своих управителей всё денег, не принимая никаких извинений, что голод и неурожай» («Размышления о героях «Мертвых душ»»; V, 513).

Очевидно, что начальник отделения, – один из многочисленных «пошлых» двойников Поприщина, отчитывающий младшего чиновника за то, что «в титуле» тот поставил «маленькую букву», – тоже понимает служебный долг по-своему. Пример подобного псевдоответственного исполнения долга, обставляемого с почти «религиозным» пафосом, Гоголь изобразил в «Утре делового человека». «Значительное лицо» Иван Петрович «распекает» здесь подчиненного «переписчика»: «Что это значит? у вас поля по краям бумаги неровны. <...> Порядочный молодой человек, недавно из университета, но вот тут (*показывая на лоб*) нет. Вы себе не можете представить, <...> скольких трудов мне стоило привести все это в порядок... <...> ...Ни один канцелярский не умел порядочно буквы написать. Смотришь: иной “к” перенесет в другую строку; иной в одной строке пишет: “си”, а в другой: “ятельство”. Словом сказать: это был ужас! столпотворение вавилонское! Теперь возьмите вы бумагу: красиво! хорошо! душа радуется, дух торжествует» (III/IV, 409).

Петербургский чиновник бывает «распекаем» даже на улице. «Один раз», когда поручику Пирогову, герою «Невского проспекта», встретился «какой-то писарь, показавшийся ему невежливым, он немедленно остановил его и в немногих, но резких словах дал заметить ему, что перед ним стоял поручик, а не другой какой офицер» (III/IV, 30). Поприщин, тоже будучи «писарем», мелким переписчиком, по все разрастающемуся самолюбию страха перед «распекателями» не испытывает – он сам намеревается внушать «почтенье» и страх другим: «Желал бы я сам сделаться генералом: не для того, чтобы получить руку и прочее, нет, хотел бы быть генералом для того только, чтобы увидеть, как они будут увиваться и делать все эти разные придворные штуки и экивоки...» (III/IV, 169). Однако, несмотря на «королевское» достоинство, на улице он предусмотрительно «сохраняет инкогнито»: «Ходил инкогнито по Невскому проспекту. Проезжал государь император. Весь город снял шапки, и я также; <...> не подал никакого вида, что я испанский король» (III/IV, 173).

Тем не менее «сумасшедшая» смелость Поприщина от надлежащего «распеканья» – как общепринятого средства исправления чиновников – его не избавляет. С этой темой связан в «Записках...» образ Великого Инквизитора, ставшего для героя, после попадания в сумасшедший дом, олицетворением мстительного возмездия. Образ беспощадного «воспитателя»-«инквизитора», наказывающего неумного честолюбца «проклятой палкой» (III/IV, 176), продолжает у Гоголя, с одной стороны, тему европейских рыцарских орденов, «уклонившихся», по его словам, от своей настоящей цели и явившихся «уже не совестью перед ветренным миром, но страшным изображением смерти и казни» («О Средних веках»; VII, 185), с другой – предвосхищает тему ревизора в будущей одноименной комедии, которую позднее, в «Развязке Ревизора», Гоголь прямо назвал «душевым городом» (III/IV, 492) [Виноградов 1995а: 330]. Образу Великого Инквизитора в повести, возвращающего или пытающегося вернуть Поприщина к норме (применяя «народные обычаи»; III/IV, 175), соответствует прибытие в финале «Ревизора» настоящего проверяющего.

Еще одним, последним средством, возвращающим человеку душевное здоровье, Гоголь называет физические болезни. Этим размышлениям писатель посвятил позднее статью «Значение болезней»¹. Будучи мучительными, они в этом контексте тоже выступают в качестве оздоравливающего «инквизиционного» средства, – «ибо страдающий плотию перестает грешить» (1 Петр. 4, 1).

¹ См. также раздел 7 наст. статьи.

5. ДИКТАТ МОДЫ, ВОЛОКИТСТВО

Следующую «всеобщую» черту «душевного города» «Записок сумасшедшего» Гоголь подразумевает, изображая подчинение Поприщина диктату светской моды. (Явление моды, свойственное «цивилизованной» жизни в целом, в более широком масштабе Гоголь описал в повестях «Невский проспект» и «Рим».) Поприщин восклицает: «Дай-ка мне ручевский фрак, сшитый по моде, да повяжи я себе такой же, как ты, галстук, – тебе тогда не стать мне и в подметки» (III/IV, 162)¹. Заметив красавицу, он также замечает: «Она не узнала меня, да и я сам нарочно старался закутаться как можно более; потому что на мне была шинель <...> старого фасона. Теперь плащи носят с длинными воротниками, а на мне были коротенькие один на другом; да и сукно совсем не дегатированное» (III/IV, 159).

Дегатированное сукно (от фр. *décatir* – избавляться от лоска, глянца) – материал, подвергшийся специальной термической обработке для придания ткани непромокаемости и предотвращения усадки. 30 апреля 1829 г. Гоголь сообщал матери, что четырехэтажный дом, где он проживает (дом каретника И.А. Иоахима на Большой Мещанской²), занимают множество торговцев и ремесленников, повивальная бабка, модистка («маршанд де мод»; *marchande de modes*; фр.) и – «дегатировщик»: «Натурально, что этот дом должен быть весь облеплен золотыми вывесками» (X, 98).

Под стать дому Иоахима был и другой доходный дом в несколько этажей, квартиру в котором снимал Гоголь в первые годы проживания в Петербурге. Это первый в столице пятиэтажный дом купца И.М. Зверкова на углу Столярного переулка и набережной Екатерининского канала; он прямо упоминается в «Записках сумасшедшего». В доме Зверкова Гоголь жил с первой половины ноября 1829 г. по средину июня 1831 г. [Виноградов 2017–2018. 2: 51, 103, 111–113]. Здесь, неподалеку от рыночной Сенной площади (от которой здание отделяет только небольшой Кокушкин мост), он создавал «Вечера на хуторе близ Диканьки», сравнивая столичный петербургский рынок с «вихрями» сельских ярмарок (I/II, 91) и упоминая, в частности, в «Пропавшей грамоте» о высоте домов в Петербурге – «таких высоких, если бы хат десять поставить одну на другую, и тогда, может быть,

¹ Ручевский фрак – фрак от Конрада Руча (Rutch), модного петербургского портного. 30 марта 1832 г. Гоголь сообщал приятелю А.С. Данилевскому в Пятигорск, что деньги на пошив модного фрака пришли не вовремя и что Руч на «требование <...> поставить тебе сукно по 25 р<ублей> аршин, <...> дал <...> обыкновенный свой ответ, что он низких сортов сукон не держит» (X, 181). 26 апреля 1832 г. Гоголь извещал приятеля, что заказанный «модный сюртук» «от Руча» готов (X, 184). Несколько реплик о Руче принадлежат в первоначальных редакциях «Ревизора» Хлестакову: «Ведь Руч работал – вот что важно»; «...Руч тебе ни за что в долг не сошьет фрака...»; «...Венгерку ему шил какой-то дрянной портнишка, совсем не Руч...»; «...Если б к счастью Осип не догадался припрятать моей новой пары платья, которой <которую> сделал мне Руч перед выездом, то я бы не знаю, как я бы показался Батюшке»; «Там из наших чиновников никто так не одевается. Платье заказываю Ручу, триста рублей за пару» [Гоголь 2003–2020. 4: 153, 194, 235, 239, 236]. Портной Руч упоминается также в «Статье неизвестного автора о положении крепостных крестьян в Малороссии», список которой сохранился в бумагах Гоголя (VIII, 577). В черновой редакции повести назывался также портной Петерс [Гоголь 2003–2020. 3: 434] (мастерская Петерса находилась на Большой Морской, в доме №6; [Нумерация домов... 1836: 135, 189]).

² На последнем этаже дома Иоахима Гоголь жил в 1829 г., с конца апреля по 26 июля и с 22 сентября по начало ноября [Виноградов 2017–2018. 2: 15, 27, 30, 33, 35–36, 41, 51]. Носивший тогда двойную фамилию – Гоголь-Яновский, он предположительно познакомился здесь, благодаря своему приятелю по Нежинской гимназии, «поляку» В.И. Любичу-Романовичу, католику по вероисповеданию, с польским поэтом А. Мицкевичем [Виноградов 2017–2018. 2: 15–16]. С началом польского восстания 1830–1831 г. Гоголь перестал употреблять вторую часть своей фамилии, говоря, что ее «поляки выдумали» [Виноградов 2017–2018. 2: 81–83].

не достало бы» (I/II, 163). Здесь же Гоголь наблюдал, по-видимому, и те сцены, которые изобразил позднее в «Невском проспекте» и «Мертвых душах»: «...Он в небесах и к Шиллеру заехал в гости – и вдруг раздаются над ним, как гром, роковые слова (“Ты не дерись, невежа, а ступай в часть, там я тебе докажу!...” – *И.В.*), и видит он, что вновь очутился на земле, и даже на Сенной площади, и даже близ кабака...» (V, 128).

На пятом этаже дома Зверкова близ Сенной Гоголь «поселил» тех «дам» – «одну старушку, другую молоденькую» (III/IV, 159), которых Поприщин встретил на улице вместе с «мещанской» собачкой Фидель: «Перешли в Гороховую, повертели в Мещанскую, оттуда в Столярную, наконец к Кокушкину мосту и остановились перед большим домом. “Этот дом я знаю, – сказал я сам себе. – Это дом Зверкова”. Эка машина! Какого в нем народа не живет: сколько кухарок, сколько поляков¹! а нашей братии чиновников – как собак, один на другом сидит. Там есть и у меня один приятель, который хорошо играет на трубе. Дамы взошли в пятый этаж» [Гоголь 1937–1952. 3: 196, 555]². – Месяц спустя герой записал, что, отправившись «допросить» Фидель, он «пробрался в шестой этаж» (III/IV, 164). Это противоречие разрешается тем, что третий этаж в доме Зверкова, самый высокий в доме, в комнатах, выходящих во двор, был, как оказывается, разделен на два этажа, а это означает, что Поприщин заходит в дом со двора, с «черного хода», и, следовательно, «старушка и молоденькая», которых Поприщин называет сначала «дамами» (а потом одну без обиняков зовет глупой «девчонкой»; III/IV, 164), в действительности были вовсе дамы, а, по мнению исследователя, «прислуга» [Бланк: 178]. Более вероятно, что под дамами Гоголь подразумевал «кухарок» или «маршанд де мод» – из тех, что действительно проживали в домах Иоахима и Зверкова. Мнимые дамы обитают среди ремесленников, и такое их именование, безусловно, иронично; оно перекликается с тем словоупотреблением, которое запомнила из общения с Гоголем А.О. Смирнова, знакомая с писателем с 1831 г. [Виноградов 2017–2018. 2: 117]). Смирнова вспоминала, что Гоголь «терпеть не мог фабричных служ^ащих в фуражках и дам нарумянен^ных» [Виноградов 2017–2018. 6: 272; 7: 94]³.

Следование Поприщина последней моде прямо сближает его с обличаемой им же директорской дочерью: «Утверждай теперь, что у женщин не велика страсть до всех этих тряпок. [Хоть ты ей снег сыпши на самую <голову>, а в магазин поедет]» [Гоголь 1937–1952. 3: 194, 554]. Несколько лет спустя, в 1846 г., к образу расточительной Софи, бегающей по магазинам даже в дождь, сам Гоголь указал очевидный литературный прототип – «модную жену» с «резвой» домашней Фиделькой и «угодником» Миловзором в одноименной сатирической «сказке» И.И. Дмитриева «Модная жена» (1791). А к описанию роскошной половины дома

¹ Слово «поляков» цензор В.Н. Семенов в 1834 г. исправил на «приезжих», что объяснялось актуальностью темы польского восстания (см. предшеств. примеч.).

² Отмечено также [Комарович 1938: 703], что упоминание Гоголя в письме к матери от 13 августа 1829 г. о «неприятном запахе», который «обыкновенно бывает в Петербурге» (так что «мимо иного дома нельзя бывает пройти»; X, 117), повторяется в описании Поприщиным его пути в дом Зверкова: «Я терпеть не люблю капусты, запах которой валит из всех мелочных лавок в Мещанской; к тому же из-под ворот каждого дома несет такой ад, что я, заткнув нос, бежал во всю прыть» (III/IV, 164).

³ Безусловно, «нетерпимость» Гоголя не следует понимать буквально. Писатель всегда подчеркивал, что следует «враждовать» не с людьми, а с их «болезнями» (VI, 98), употреблять «гнев против врага людей, а не против самих людей» (XIII, 85) (см. его статьи «Предметы для лирического поэта в нынешнее время» (1844); «Что такое губернаторша» (1846); письма к Н.М. Языкову от 5 апреля (н. ст.) 1845 г. и к князю П.А. Вяземскому от 11 июня (н. ст.) 1847 г.).

«его превосходительства» с «богатым убранством», «зеркалами и фарфорами» и будуаром красавицы с роскошными нарядами привел соответствующее произведение А.С. Пушкина – поэму «Граф Нулин» с образом расточительного графа, вернувшегося «из чужих краев» «с запасом фраков и жилетов», «с bon-mots Парижского двора» («Et cetera, et cetera»), и – таким же образом лукавой жены, с «косматым» шпичем [Пушкин 1827: 8, 15]. В «Учебной книге словесности для русского юношества», характеризуя жанр повести, Гоголь отметил, что она «избирает своим предметом случаи», замечательные «в отношении психологическом», и что, если повесть «берет с сатирической стороны какой-нибудь случай, тогда делается значительным созданием, несмотря на мелочь взятого случая; таковы “Модная жена” <Дмитриева>, “Граф Нулин” Пушкина» (VI, 333)¹.

В статье «Занимающему важное место» Гоголь тоже замечал: «Мода подорвала все обычаи...» (VI, 149). В статье «Светлое Воскресенье» добавлял: «Что значит эта мода, ничтожная, незначащая, которую допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело, и которая теперь, как полная хозяйка, уже стала распоряжаться в домах наших, выгоняя все, что есть главного и лучшего в человеке? Никто не боится преступать несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа и между тем боится не исполнить ее малейшего приказанья, дрожа перед нею, как робкий мальчишка. Что значит, что даже и те, которые сами над нею смеются, пляшут, как легкие ветреники, под ее дудку?» (VI, 201). На это же Гоголь указывал в повести «Рим», говоря о Париже как неистощимом «водомете» «новостей, просвещения, мод, изысканного вкуса и мелких, но сильных законов, от которых не властны оторваться и сами порицатели их» (III/IV, 181). В черновом наброске к заключительной главе второго тома «Мертвых душ» он повторял: «Страшным оскорбительным упреком и праведным гнев<ом> поразит нас негодующее потомство, [что мы, питомцы века просвещения] что еще [дерзали] играя, как игрушкой, святым словом просвещения, правились швеями, парикмахера<ми>, модами, дерзали поставлять <себя> выше [простых] мужественных [предков <1 нрзб.>]» [Гоголь 2003–2020. 8: 281].

Мода, светский этикет распространяются на все сферы жизни европейски «просвещенного» Петербурга, вытесняя «все, что есть главного и лучшего в человеке» (VI, 201). Под внешним показным лоском оказывается общая всем духовная неразвитость, пренебрежение служебным долгом, неверность в браке и общее «бесчеловечье», – даже в тех, кого «свет признает благородным и честным» (III/IV, 119). На эту петербургскую и не только петербургскую черту Гоголь еще раз указывает в «Шинели» – повести, тоже посвященной судьбе ничтожного чиновника-переписчика. Рассказчик «Шинели» замечает: «...как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости...» (III/IV, 119).

Уместно указать, что подобное же наблюдение над светской «утонченностью» содержится в «были» В.П. Андросова «Случай, который может повториться», напечатанной в 1834 г. в «Телескопе» (с эпиграфом из «Гамлета»: «И наконец, к не-

¹ Из «Графа Нулина» Гоголь, по-видимому, почерпнул и характеристику «кота» Чичикова [Виноградов 2023а]. В заключительной главе первого тома поэмы рассказчик говорит о том, что Чичиков, «как осторожный кот, покося только одним глазом вбок, не глядит ли откуда хозяин, хватается поспешно все, что к нему поближе <...>, не пропускает ничего» (V, 231). – «Так иногда лукавый кот, / Жеманный баловень служанки, / За мышью крадется с лежанки: / Украдкой, медленно идет, / Полузажмурясь подступает, / Свернется в ком, хвостом играет, / Разинет когти хитрых лап – / И вдруг бедняжку цап-царап» [Пушкин 1827: 13]. «Хищничеству» этого кота Пушкин уподобил ночное похождение к чужой жене «просвещенного» графа.

счастью, помешался»)¹. О «нежной, чувствительной» красавице Андросов писал: «Нередко прелестные уста, небесно улыбавшиеся в гостинной, тряслись судорожными движениями гнева в девичьей...» [Андросов: 22].

Эту тему Гоголь поднимал и в «Мертвых душах», характеризуя светскую, «приятную во всех отношениях» даму, которая «ничего не пожалела, чтобы сделаться любезною в последней степени, <...> хотя подчас в каждом приятном слове ее торчала ух какая булавка!» (V, 173): «...А уж не приведи Бог, что кипело в сердце против той, которая бы пролезла как-нибудь и чем-нибудь в первые. Но все это было облечено самую тонкою светскостью, какая только бывает в губернском городе» (V, 173). Светскость не предохраняет от душевной нечистоты и плутовства и главного героя поэмы Чичикова: «Хотя он и должен был вначале протираться в грязном обществе, но в душе всегда сохранял чистоту, любил, чтобы в канцеляриях были столы из лакированного дерева и все бы было благородно» (V, 226).

Как уже говорилось, в основе «Записок сумасшедшего» лежат конкретные впечатления Гоголя, которые он получил в начальный период проживания в Петербурге. Описание «благородной» департаментской службы, на которой пребывает герой-«переписчик» этой повести («очинивающий перья для его превосходительства»; III/IV, 158), – помещение с «столами из красного дерева», с обращением начальников «на вы» (III/IV, 158) (как утверждает герой, хотя, по наблюдению исследователя, «даже начальник отделения неизменно говорит ему “ты”»; [Иванов 1979: 49]), – тоже носит автобиографический характер. Черты «благородного» департамента «Записок...» указывают на второе место службы самого Гоголя по приезде в Петербург, а именно, исполнение им в продолжение почти года, с 10 апреля 1830 г. по 9 марта 1831 г., в начальной должности «коллежского регистратора», обязанностей «писца» в Департаменте уделов [Виноградов 2017–2018. 2: 67, 100]. Именно этот департамент был в Петербурге первым по части внешнего европейского «облагораживания» присутственных мест. «Благородные» преобразования были сделаны здесь в 1827 г. министром Императорского Двора и уделов князем П.М. Волконским, после чего в следующем, 1828 г., 21 января, департамент посетил, с целью осмотра, Император Николай Павлович. Позднее непосредственный начальник Гоголя в Департаменте уделов – начальник отделения В.И. Панаев [Виноградов 2017–2018. 2: 68] (крайне неодобрительно отзывавшийся позднее о гоголевском «Ревизоре»: «...Вдруг какой-то кол<л>ежский регистраторишка дерзает осмеивать <...> даже самих губернаторов» [Виноградов 2017–2018. 2: 519]) – вспоминал: «Столы, стулья, конторки, шкафы, все явилось новое, просто, но изящно сделанное. Для хранения дел придуманы форменные картонки; на столах однообразные чернильницы; пол паркé, ковровые дорожки через анфиладу комнат. Это был первый пример благоприличного устройства присутственных мест, поданный князем Волконским. Все первенствующие сановники приезжали осматривать департамент» [Панаев: 143].

Позднее, во втором томе «Мертвых душ», Гоголь так описывал поступление своего героя на службу: «...Проведя два месяца в каллиграфических уроках, достал он наконец место списывателя бумаг в каком-то департаменте. <...> Когда ввели его в великолепный светлый зал с паркетом и письменными лакированными столами, походивший на то, как бы заседали здесь первые вельможи государ-

¹ Содержание повести В.П. Андросова отзывается, в частности, в изображении в «Записках сумасшедшего» расчетливой женитьбы Софи (ср.: [Андросов: 25–26, 149–150, 152]). Отголоски «Случая, который может повториться» Андросова в «Записках сумасшедшего» впервые отмечены Г.А. Гуковским [Гуковский 1959: 362–365].

ства <...>, и увидел он легионы красивых пишущих господ, шумевших перьями <...>, и посадили его самого за стол, предложив тут же переписать какую-то бумагу, как нарочно несколько мелкого содержания <...>, необыкновенно странное чувство его проникнуло. Ему на время показалось, как бы он очутился в какой-то малолетней школе, затем, чтобы сызнова учиться азбуке, как бы за проступок перевели его из верхнего класса в нижний» (V, 378).

Спустя два месяца после поступления в Департамент уделов Гоголь в письме к матери, как бы прямо предваряя похвальбу героя «Записок сумасшедшего» «благородством» службы и, одновременно, сетования о недоступных «доходных» местах (III/IV, 158), писал: «...Я вам сотню <...> приведу примеров таких людей, которые <...>, не имея ни гроша, приобрели <...> многое; но вспомните, <...> когда протекало их поприще службы (здесь Гоголь вновь употребляет, как в и 1828 г. (см. выше) слово “поприще”. – И.В.). <...> В царствование блаженной памяти Екатерины и Павла, сенат, губернские правления, казенные палаты были самые наживные места. Теперь взятки господ служащих в них гораздо ограничены... <...> В департаментах же министерств служба несколько более еще облагорожена...» (X, 139). – В отличие от своего героя Гоголь, однако, тут же замечал, что служить стоит не ради «доходов», а чтобы «сделаться необходимым огромной массе государственной» (X, 139), т. е. определенно отделял себя корыстолюбивых «господ служащих»¹.

Предметом постоянного обличения Гоголя было также распутство «просвещенной» петербургской жизни (в наибольшей степени это явление тоже было представлено в «Невском проспекте»). (Обличение распутства – сквозная тема гоголевской сатиры [Виноградов 2021а: 61–62, 159–160, 241–243, 296–298, 466, 505–507].) Плотские соблазны чиновников изображаются в «Записках...» при характеристике «бестии» – петербургского чиновника, который, по словам Поприщина, «не уступит никакому офицеру: пройди какая-нибудь в шляпке, непременно зацепит» (III/IV, 159); в образе департаментского «жида»-казначая, которого «собственная кухарка бьет <...> по щекам» (III/IV, 158); в поведении самого сумасшедшего, мечтающего заглянуть в спальню красавицы².

¹ В этом же письме Гоголь извещал мать о своих начальниках. Отношения с ними Гоголя, – по крайней мере, как это явствует из письма к матери, – тоже отличались от того, каким характеризуется отношения с вышестоящими чиновниками Поприщина: «Главный начальник мой – вице-президент департамента, гофмейстер Л.А. Перовский. Начальник отделения мой, от которого я непосредственно завишу (я нахожусь во 2-м отделении) В.И. Панаев, человек очень хороший, которого в душе я истинно уважаю; если же вы хотите знать и столоначальника, которого должность не велика однако ж и который мало надо мною влияния имеет, то фамилия его Д.И. Ермолов, человек впрочем недурной и не без воспитания» (X, 138–139). По-видимому, вице-президента Л.А. Перовского Гоголь имел в виду, когда ранее, 2 февраля 1830 г., писал матери: «...Собирайте все попадающиеся вам древние монеты и редкости <...>, стародавние старопечатные книги, другие какие-нибудь вещи, антики, а особливо стрелы, которые во множестве находимы были в Псле. <...> Я хочу прислужиться этим одному вельможе, страстному любителю отечественных древностей, от которого зависит улучшение моей участи» (X, 130) [Виноградов 2017–2018. 2: 68–69].

² В черновой редакции повести имелась еще одна аналогичная черта из мира сумасшедших. В переписке собачек задавался вопрос: «Я не могу понять, отчего люди одеваются, почему не ходят так, например, как мы, и хорошо и покойно» [Гоголь 1937–1952. 3: 562]. Сумасшедший герой на это только замечает: «Дура! Тотчас видно собачий ум. А кто бы тогда узнал, какой чин на нем?» [Гоголь 1937–1952. 3: 562]. Из фривольного «собачьего» контекста герой переводит разговор к более «серьезным» для него вещам. Но по-настоящему глубокий смысл эта тема приобретает в финальной фразе Поприщина в сумасшедшем доме, где «оголенность», снятие «одежд» являют отказ от «королевского» статуса: «Я ничего не имею» (III/IV, 176) [Константинова 2009а: 209]. Размышления о роли одежды как признака социального положения – богатой или бедной – были положены впоследствии Гоголем в основу замысла «Шинели».

6. ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ДУХОВНЫМ ВОЗРАСТАНИЕМ

Под стать праздной жизни Поприщина является затронутая Гоголем в еще нескольких произведениях проблема университетского «барьера» в продвижении чиновников по служебной лестнице. Эта черта, характеризующая героя «Записок...», значима также для других чиновников, изображенных Гоголем: для «майора» Ковалева в повести «Нос», для «ничтожного» «титулярного советника» Башмачкина в «Шинели». Об университетском образовании Поприщин упоминает, когда замечает о начальнике отделения, что тот пишет не вполне грамотно, хотя «и толкует, что где-то учился в университете» (III/IV, 165).

В этом отношении обличительный пафос «Записок сумасшедшего» связан с целым комплексом религиозно-политических и нравственно-богословских правил, законов и заповедей, которые нарушает герой. Главное для Поприщина как государственного служащего заключается в том, что пренебрегаемый героем долг – реализация данного Богом таланта, исполнение своего предназначения в мире – напрямую связан с проблемами государственного строительства, создания православной империи, которую, по словам Гоголя, «Сам Бог строил незримо руками государей» (VI, 144), – государственности, которая служит спасению душ подданных.

В соответствующей статье «Талант» словаря Н.М. Яновского (1803–1806) – издания, бывшего в кругу чтения Гоголя, – отмечено: «Внимание к поощрению талантов, коль скоро оные будут в ком замечены, должно быть первейшею обязанностью всякого Правительства, имеющего общественное благостояние своею целью. Попечение Государя о том, дабы его подданные занимали места, соответственно их дарованиям, есть ближайшее средство к достижению истинной славы, а чрез определение к важным должностям добродетельных мужей с отличными талантами процветают и благоденствуют их государства» [Яновский 1806. 3: 787]. Один из новозаветных источников этих положений – об употреблении талантов подданных – Первое соборное послание св. апостола Петра: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители много-различной благодати Божией» (гл. 4, ст. 10).

По замыслу Гоголя, изображение героев «Записок сумасшедшего» и «Шинели» – титулярных советников Поприщина и Башмачкина – непосредственно связано с законодательно оформленными условиями продвижения чиновничества по карьерной лестнице, а также с усилиями министра народного просвещения С.С. Уварова по привлечению служащих к сдаче университетских экзаменов для получения следующего чина (и, одновременно, для повышения чиновниками их социального статуса и, соответственно, духовного роста) (см.: [Виноградов 2018b: 43–45]). Без сдачи утвержденных экзаменов перейти со ступени титулярного советника к следующему чину – коллежского асессора – было, по тогдашним правилам, невозможно. Поэтому в «Шинели» Гоголь называет своих нерадивых, бездарно проводящих время героев «вечными титулярными советниками» (III/IV, 117; курсив мой. – И.В.). Непосредственно в этом заключается ответ на риторический вопрос Поприщина, «отчего», «почему» и «с какой стати» он – лишь «титулярный советник» (III/IV, 169). (Особым образом эту тему Гоголь затрагивает в повести «Нос», герой которой, «майор» Ковалев, стремясь выбраться из титулярных советников, отправляется даже на Кавказ, где чин коллежского асессора (или, согласно военной табели о рангах, «майора») присваивался без аттестата и экзаменов.)

Для Гоголя, писателя-«государственника», всегда отстаивавшего правительственные интересы России как отражение потребностей всего общества, решение проблемы «маленького» человека, значимой для любого социального организма, заключалось не в политических преобразованиях, а в духовном и профессиональном росте всех членов социума – «значительных» и «незначительных», в отношении *каждого* к государству и стране как общему достоянию [Виноградов 2017b: 63–65].

Подобный взгляд Гоголя на своих героев определяет главный «водораздел» между его творчеством и сочинениями литераторов последующей, западной школы Белинского. Христиански-*сострадательное* и в то же время христиански-*требовательное* отношение Гоголя к «маленькому» человеку у его мнимых-«последователей» подменялось умилительно-«филантропическим», «гуманистическим» подходом, с радикальными выводами в отношении к «гнусной расейской действительности» [Белинский 1953–1959. 11: 576–577]. Соответствующим было и истолкование повести последующими советскими комментаторами (см. выше раздел 1). Заявлялось, в частности, что трагизм судьбы Поприщина заключается в том, что «нет надежды вырваться из этого страшного сумасшедшего дома – России» [Макогоненко 1979: 125]. Эпигонством радикальной школы сам Гоголь был недоволен, – даже и тогда, когда оно исходило от его близких знакомых, в том числе от школьных приятелей. Так, два подражания «Запискам сумасшедшего», в духе зарождающейся натуральной школы, написал в 1835 и 1840 гг. его соученик по Нежинской гимназии Е.П. Гребенка. Сначала тот напечатал отрывок «Листок из записок несумасшедшего» [Гребенка 1835]; затем – повесть «Верное зеркало» [Гребенка 1840]. По поводу эпигонских подражаний Гребенки Гоголь в 1841 г. говорил П.В. Анненкову: «...Напишите ему, <...> чтоб он перестал подражать. <...> Он вредит мне. <...> ...Я сержусь и не хочу этого. <...> Зачем же он в мои дела вмешивается? Это неблагородно, напишите ему» [Виноградов 2017–2018. 3: 525]. В 1842 г., в беседе с П.К. Сильчевским, Гоголь также дважды отозвался о Гребенке – вместе с литераторами его круга, В.И. Карлгофом, В.Г. Бенедиктовым, Н.В. Кукольником (последний тоже соученик Гоголя, приверженец Шиллера; в таком виде Гоголь вывел Кукольника в шестой главе «Мертвых душ» [Виноградов 2020b: 33–34]), – что «как писатели они – пустой народ» – «это все пустой народ» [Виноградов 2017–2018. 4: 128].

«Знаковая» последовательность Гоголя, не только в литературе, но и в жизни, его реплики, обсуждавшиеся в публике, позволяют проиллюстрировать его взгляды по поводу социальных преобразований на конкретном примере. Однажды при Гоголе кто-то наступил на лапку болонке, и та завизжала. На это Гоголь не столько в шутку, сколько всерьез заметил: «А не хорошо быть малым!» [Виноградов 2017–2018. 6: 556]. Случай относится к 1850 г., но еще в школьные годы Гоголь, который, по свидетельству его соученика В.И. Любича-Романовича, относился к бедности «с большим вниманием», говорил: «Я бы перевел всех нищих, <...> если бы иметь на это силу и власть». Когда же его спрашивали, как бы он это сделал, отвечал: «Да всем бы построил дома, дал бы им земли и заставил бы работать для себя... А то ведь им головы преклонить некуда, потому они и побираются. При доме же и земле они этого не захотели бы для себя...» [Виноградов 2017–2018. 1: 473]. Позднее Гоголь, размышляя об изображенных им «маленьких» героях, Поприщине, Башмачкине и др. – что «не хорошо быть малым» [Виноградов 2019d: 117], – указывал на возможность их возрастания с получением конкретного университетского образования, которое открывало для чиновников новые, более высокие ступени социальной и государ-

ственной лестницы. Речь при этом шла не только о профессиональном, чиновном, но и духовном росте. Весной 1851 г. Гоголь, узнав от одесского знакомого Ф.Е. Никольского, что тот является студентом первого курса Московского университета, сказал: «Значит, встали на первую ступень умственного развития; ну, дай вам Бог добраться до верхней площадки этой лестницы» [Виноградов 2017–2018. 7: 56]. Показательна в этом отношении судьба еще одного лица, для которого пребывание Гоголя в Одессе зимой 1850/51 г. стало решающим для последующего возрастания. Одесская знакомая Гоголя Е.А. Хитрово была в тот период домашней воспитательницей дочери князя и княгини В.Н. и Е.П. Репниных-Волконских. Впоследствии, благодаря Гоголю, направившего ее в общину сердобольных сестер А.С. Стурдзы, она стала настоятельницей Симферопольской Крестовоздвиженской общины [Виноградов 2017–2018. 6: 558–560].

7. ТЩЕСЛАВИЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКАЯНИЯ

Еще одной «знаковой» общей чертой для Поприщина его начальника – «государственного человека» – является не оправдываемое делами честолюбие – тщеславие героев-«двойников», выражающееся в дворянской спеси Поприщина и сумасшествии героя по поводу его «королевского» достоинства.

Замысел повести о тщеславном чиновнике связан с упомянутой незавершенной сатирической комедией Гоголя «Владимир 3-ей степени», которая, как уже говорилось, была начата в июне-июле 1832 г. и оставлена в августе 1834 г. в связи с началом работы над «Записками сумасшедшего». Сюжет неоконченной комедии основывался на страстном, доводящем до сумасшествия желании чиновника получить орден, дававший дворянское достоинство. (Тема ордена, или знака отличия, была затронута Гоголем еще в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», в повестях «Майская ночь, или Утопленница», «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», «Ночь перед Рождеством» [Виноградов 2000: 39–40, 73–74].)

Повесть о честолюбце Поприщине органически связана с осмыслением Гоголем европейской цивилизации как возбудителя низменных страстей человека – прежде всего его эгоизма. Париж, где «один силился перед другим, во что бы то ни стало, взять верх, хотя бы на одну минуту» (как сказано в «Риме»; III/IV, 186), и Петербург, ставший со времен его основателя поприщем для всех неуемных честолюбцев, здесь же и воспитывающихся, в этом обнаруживают свое генетическое родство. Очевидно, по Гоголю, прорубленное «окно в Европу» оказалось для России не только соблазнительной витриной модного парижского магазина – через него шагнул в страну и сам европейский культ «человеческой гордости» (VI, 258), потворство всем телесным и душевным страстям человека.

В таком осмыслении российской действительности Гоголь был не оригинален. Н.М. Карамзин в своей «Записке о древней и новой России» (1811) (известной Гоголю предположительно с 1831 г.) писал: «Дотоле от сохи до престола россияне сходствовали между собою некоторыми общими признаками наружности и в обыкновениях; со времен Петровых высшие степени отделились от нижних, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах ко вреду братского, народного единодушия государственных состояний» [Карамзин 1988: 103]. Здесь же Карамзин указывал на «гражданское честолюбие» как средство, которое Екатерина II с помощью орденов поощряла в России, стараясь возместить этим «охлажденную у нас переменами Великого Петра» «любовь к Святой Руси» [Карамзин: 107].

«Аккуратный немец» Петербург, «на все глядящий с расчетом» («Петербургские записки 1836 года»; VII, 513), немецкий эгоизм (письмо Гоголя к М.П. Балабиной от апреля 1838 г.; XI, 147), французское «желание выказаться, хвастнуть, выставить себя» (повесть «Рим»; III/IV, 186) – все эти гоголевские определения свидетельствуют, что «петербургские» по месту действия «Записки сумасшедшего» являются у Гоголя по существу и «европейскими» (что как бы подчеркнуто расположением этой повести в прижизненном собрании сочинений 1842 г. в непосредственной близости к «Риму»); герой не случайно мыслит себя участником мировой политики.

Помимо бесспорно реально-исторического происхождения многих негативных явлений русской жизни (активное западное влияние, начиная с Петра I), Гоголь и всякий грех осмысляет как «иноплеменничий», – потому что грех действительно инороден душе¹. Мученичество страдающих героев Гоголя заключается подчас именно в рабстве «чужеземным врагам» (VI, 89) – страстям. Это мученичество не ради Христа, а из приверженности к «врагу» – к миру и его соблазнам – постоянный предмет обличения в устах церковных пастырей (см.: [Виноградов 2020с: 137]). Именно таким неразумным страдальцем и предстает у Гоголя неуемный честолюбец Поприщин в «Записках сумасшедшего». Как позволяет судить обращение к автографу, во втором плане «Арабесок», относящемся к концу августа – сентябрю 1834 г., повесть называлась «Записки сумасшедш<его> мучен<ика>» [Виноградов 1994]. Такое название в полной мере соответствует содержанию повести. «За что они мучат меня? <...> я не могу вынести всех мук их», – восклицает герой в конце повести, когда, возомнив себя «испанским королем», оказывается в сумасшедшем доме (III/IV, 176; курсив мой. – *И.В.*). И мученичество, и сумасшествие героя заключаются, по Гоголю, прежде всего в его ненасытном и неутолимом честолии. В этом отношении «Записки сумасшедшего мученика» вобрали в себя наиболее важные мотивы оставленной комедии «Владимир 3-ей степени».

К «сумасшедшим мученикам» принадлежат у Гоголя и Акакий Акакиевич Башмачкин в «Шинели» (в отличие от подлинного христианского подвижника св. Акакия из сорока севастиийских мучеников [Виноградов 2001b: 231]), и Павел Иванович Чичиков в «Мертвых душах» – в его «самоотверженном» «подвиге» стяжания («Трудом и потом, кровавым потом добывал копейку»; V, 354), и шулер Ихарев в «Игроках» («Каждая дюжина золотая. Потом, трудом досталась всякая»; III/IV, 370), и приверженец моды Хлестаков в «Ревизоре» (который в черновой редакции комедии замечает: «...вот кладу крест (крестится), если не буду играть между ними (провинциальными помещиками. – *И.В.*) первую роль... <...> Нет, <...> лучше как-нибудь поголодаю» [Гоголь 1937–1952. 4: 266]). Мученичество всего «цивилизованного» мира Гоголь тоже осмыслял как безумие. Сострадавая к «тягостному выраженью в лицах синих блуз и всего народонаселения Парижа» (повесть «Рим»; III/IV, 194), он видел в этом прямое следствие рабства греху. В набросках к не дошедшим до нас главам второго тома «Мертвых душ» он замечал: «Вот оно, вот оно, что значит, а не то, что нынешнее просвещение, которое превратило человека в машину...» (V, 491). Только освобождение от рабства греху станет, по убеждению Гоголя, освобождением от египетского рабства, египетского труда и

¹ Деятельность Петра как государственника от негативного западного влияния в петровскую эпоху Гоголь отделяет, замечая, что «слишком вызрело европейское просвещение, слишком велик был наплыв его, чтобы не ворваться рано или поздно со всех сторон в Россию и не произвести без такого вождя, каков был Петр, гораздо большего разладу во всем, нежели какой действительно потом наступил» («В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность»; VI, 156).

русского, и всех промышленных народов Европы. «Нищенство, – замечал он в «Выбранных местах из переписки с друзьями», – есть блаженство, которого еще не раскусил свет. Но кого Бог удостоил отвесть его сладость и кто уже возлюбил истинно свою нищенскую сумку, тот не продаст ее ни за какие сокровища мира» (VI, 124–125).

В качестве одного из главных средств, возвращающих человека к духовному здоровью, Гоголь называл физические болезни («Значение болезней»; VI, 18–19). Этот «оздоравливающий» аспект воплощается в «Записках сумасшедшего» во внезапном прозрении больного героя на «водных процедурах» в сумасшедшем доме – в «аду» («Такого ада я еще никогда не чувствовал»; III/IV, 175). Начало мученичества Аксентия Поприщина помечено в дневнике «февруарием»: «Мадрид. Февруарий тридцатый» (III/IV, 173). Ошибочно считать появление такого слова «школярной латынью» [Долгобородов 1997: 22]. «Февруарий» прямо отсылает к житиям святых, а именно, ко второму тому «Книги житий святых. На три месяца вторья, еже есть: Декемврій, Іаннуарій и *Февруарій*», где непосредственно содержится жизнеописание небесного покровителя героя – св. преподобного Авксентия Вифинского, «в воинском чине и в царской палате знаменитого», «в Божественном писании и во внешнем любомудрии искусного», – принявшего на себя иноческий образ и ставшего молитвенником-чудотворцем (память св. Авксентия Вифинского совершается 14/28 февраля) [Димитрий Ростовский 1764. 2: 515 об.–517]. Известны еще три святых с именем Авксентий, в том числе мученик, – пресвитер, «издавна славный родом и житием», которого мучитель обвинял в безумии [Димитрий Ростовский 1764. 2, л. 95 об.–96, 98]; [Долгобородов 1997: 25–26]. Последняя запись Аксентия Поприщина, – тяжелый плод мученичества, возвращающего героя в сознание, – представляет собой подлинную сердечную молитву. В такой оценке заключительного эпизода повести сходятся большинство исследователей [Лукин 1996: 69; Долгобородов 1997: 25; Константинова 2009b: 171; Карл 2010: 246; Кёнёнен 2010: 154–155; Ревзина 2020: 308; Виноградов 2021b: 291–292].

Кричавший ранее «изо всей силы» о своем «нежелании быть монахом» (III/IV, 175), «испанский король» смиряется. В момент мученичества ему приходит общехристианское сознание своего «значения» в мире: «За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею» (III/IV, 176). – «...Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял...» (Иов 1, 21); «Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей» (Екк. 5, 14); «Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него» (1 Тим. 6, 7).

В 1902 г. профессор психиатрии И.А. Сикорский (выпускник Киевской Духовной семинарии и Киевского университета Св. Владимира, сын священника) в связи с финалом повести, завершившейся не выздоровлением, а новым погружением «сумасшедшего мученика» в бред («у алжирского дея под самым носом шишка»; III/IV, 176), замечал: «Хотелось бы читателю, чтобы несчастный, на минуту стряхнувший с себя безумие, умер *человеком*, но он умирает *безумцем*. Это событие невольно напоминает <...> трагический факт отречения от Христа христианских мучеников в самый момент мученической смерти. Церковь признавала таких мучеников святыми, потому что отречение их совпало с моментом и с процессом

самой смерти: Христианская Церковь справедливо признавала, что они “претерпели до конца”» [Сикорский 1902 <1903>: 430].

Архимандрит Феодор (Бухарев) писал о финале «Записок сумасшедшего»: «Всего <...> вы коснулись, поэт! Во всем прославили и возблагодарили Божественную Отеческую Любовь, <...> не оставляющую <...> глупых детей <...> и в бесчувственной болезни, по поводу которой иной мыслитель задает небу гордый ропщущий запрос...» [Феодор (Бухарев) 1861: 146].

Чем бы, однако, ни разрешался открытый финал повести, он в любом случае остается поучительным, даже если безумие героя остается беспросветным. Как писал об изображенном им сумасшедшем В.П. Андросов в упомянутом «Случае, который может повториться», в самом образе безумия заключен немой урок и напоминание о бренности человека: «...В этой развалине <...> заключено высокое, безмолвное убеждение, в прах низлагающее нашу гордыню» [Андросов 1834: 154]¹. Сокрушение всех желаний «испанского короля», «память смертная» и весть о «ревизоре, который ждет нас у дверей гроба» (III/IV, 493), об «ответе Небу» (VI, 243), заключенные в финале «Записок сумасшедшего», которые завершают «процесс самопознания» героя [Кузнецов 1992: 41], – сближают ее окончание с финалом «Ревизора».

Такую же связь обнаруживают заключительная сцена «Записок...» и с завершающими главами «Тараса Бульбы». В предпоследней главе мучимый врагами Остап, желая «пересилить муки» (VII, 247), обращается за утешением к земному отцу: «Батько! <...> слышишь ли ты все это?» – и получает ответ Отца Небесного: «Слышу!» (I/II, 407) (отчего «весь миллион» стоящего вокруг народа «вздрагивает» (I/II, 407), – с таким же испугом замирают в «немой сцене» герои-грешники «Ревизора»). Позднее в статье «Напутствие» Гоголь писал: «Все вижу и слышу: страданья твои велики. <...> Но вспомни: <...> всех нас озирает свыше Небесный Полководец, и ни малейшее наше дело не ускользает от Его взора» (VI, 155). Так же точно, подобно Остапу Бульбе, мучимый, но более слабый и более грешный герой, Аксентий Поприщин, обращается с «плачем» к родной матери, но в его «плаче» тоже прорывается молитва к Небу, к Царице Небесной: «Матушка моя, за что они мучат меня. [Царица] <Ко>ролева моя светлая [взгляни]...» [Гоголь 2003–2020. 3: 444, 222]. Плач-молитва «рыцаря бедного»² Поприщина становится в ряд тех молений, о которых говорится в Библии: «Между притвором и жертвенником да плачут священники, служители Господни, и говорят: “пощади, Господи, народ Твой...”» (Иоил. 2, 17). Заключительной молитвой героя «Записки сумасшедшего» приобретают широкое символическое значение, становятся притчей обо всем страждущем человечестве, чающем от Бога избавления и ответа: «И ответит Господь, и скажет народу Своему: вот, Я пошлю вам хлеб и вино и елей, <...> и более не отдам вас на поругание народам» (Иоил. 2, 19)³. По-настоящему

¹ Ближайший «прототип» Поприщина в «Вечерах...» – сходящая с ума от потери сына Катерина – не молится, но только, как и герой «Записок...», вспоминая в бреду об алжирском дее, ведет себя не соответствующе своему трагическому положению: танцует, смеется и поет. Однако этот образ тоже содержит в себе мысль о конечности и бренности.

² [Пушкин 1837b: 220].

³ Можно предположить, что, оставляя в образах «живых», но вымышленных героев молитвенное обращение к земному отцу и к земной матери, Гоголь сознательно не позволял себе окончательно переходить границу, отделяющую светское художественное произведение от духовной литературы – житий и Священного Писания. У этой осторожности могли быть и соображения цензурного характера. Все, что было связано с религиозным почитанием и культом, к печати в светских произведениях цензурой в то время не допускалось (см.: [Виноградов 2021a, с.341–347]).

молитвенное обращение героя к матери придает «Запискам сумасшедшего» особый прообразовательный характер и, подобно воззванию «маленького человека» в «Шинели» («Я брат твой!»; III/IV, 119), сообщает ей общечеловеческое звучание. (Показательно и то, что в статье «Напутствие», напоминая приятелю о взирающем на него с небес Отце, Гоголь отмечает попутно далеко не идеальное состояние адресата: его «нервические припадки и недуги» (VI, 155). Едва ли Гоголь не подразумевал при этом черты психически неуравновешенного героя «Записок сумасшедшего».)

8. ОТ «ЗАПИСОК СУМАСШЕДШЕГО» К «МЕРТВЫМ ДУШАМ» И «РАЗМЫШЛЕНИЯМ О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ»

По-видимому, именно от повестей о мучимых, страдающих героях в «Миргороде» и «Арабесках» – Остапе Бульбе и Аксентии Поприщине – берут начало и размышления Гоголя о молитве-плаче и значении Псалтири, которые он изложил позднее в письмах к больному поэту Н.М. Языкову. Переписывая в начале 1840-х гг. Псалтирь для себя и А.О. Смирновой, Гоголь трижды обращался к строкам шестого псалма: «...Измью на всяку ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу»¹ (ст. 7). Рекомендуя в 1844 г. Псалтирь Языкову, он тоже призывал его молиться со слезами: «...Когда страданья <...> бывают невыносимо мучительны <...>, бросайся в плач и слезы. Молись рыданьем и плачем. <...> Давид <...> обливал одр свой слезами, и получал тут же чудное утешение. <...> ...В Давидовых псалмах <...> излишня нежной глубоко страдавшей души... <...> Вот почему остались они как лучшие молитвы, и до сих пор в течение тысячелетий низводят утешенье в души» (XII, 327, 329).

Тема молитвы страдающего человека, воплощенная в двух повестях, в «Тарасе Бульбе» и «Записках сумасшедшего», а также раздумья в «Арабесках» в статье «Жизнь» о чаянии древними народами грядущего Спасителя являются в гоголевском творчестве определенным «прологом» с последующему созданию книги о Литургии (замысел книги «Размышлений о Божественной Литургии» относится предположительно к началу 1842 г.). 1 сентября (н. ст.) 1842 г. Гоголь писал матери о страдающем чиновнике, случайно встреченном ею в Харькове: «Если вы почувствуете, что слово ваше нашло доступ к сердцу страждущего душою, тогда идите с ним прямо в церковь и выслушайте Божественную Литургию. Как прохладный лес среди палящих степей, тогда примет его молитва под сень свою» (XII, 121). Во «Вступлении» к «Размышлениям о Божественной Литургии» Гоголь повторял: «Скорбя от неустроений своих, человечество отвсюду, со всех концов мира взывало к Творцу своему...» (VI, 349). При этом Гоголь подчеркивал, что к Богу взывали в древние времена и язычники – те, что пребывали «во тьме язычества» и были «лишены Боговедения» (VI, 349). Это уточнение в свою очередь, как широкое обобщение, очевидно, включает в себя и Поприщина, являющегося, по своему «пошлому» состоянию, почти язычником. В «Размышлениях о Божественной Литургии» Гоголь упоминал и о том, что человек, созерцая «небесную красоту», «плачет», сетуя «на свое бессилие, на то, что не может весь предаться красоте» (VI, 397; курсив мой. – И.В.). Истокована была и вторая из Заповедей блаженств – о плачущих: «*Блаженны плачущие, яко тии утешатся* – плачущие еще больше о собственных несовершенствах и прегрешениях, чем от оскорбле-

¹ Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (РГБ). Ф. 74. К. 4. Ед. хр. 44. Л. 5, 15 об.; Рукописный отдел Пушкинского Дома (ИРЛИ). Ф. 652. Оп. 1. № 8. Л. 4.

ний и обид, им наносимых» (VI, 361). Молитвенный характер носят также строки статьи Гоголя «Нужно любить Россию»: «Уже крики на бесчинства, неправды и взятки – не просто негодование благородных на бесчестных, но *вопл* всей земли, слышавшей, что чужеземные враги вторгнулись в бесчисленном множестве, рассыпались по домам и наложили тяжелое ярмо на каждого человека; уже и те, которые приняли добровольно к себе в дома этих страшных врагов душевных, хотят от них освободиться сами, и не знают, как это сделать, и все сливается в один потрясающий *вопл*...» (6: 88–89; курсив мой. – *И.В.*). Это заставляет задуматься о самом характере гоголевского «смеха сквозь слезы». Как и размышления о молитве и Литургии, мысли о «видном миру смехе и незримых, неведомых ему слезах» (V, 130), по-видимому, также восходят к 1830-м гг., времени создания «Записок сумасшедшего».

Избегая идеализации, не вводя в повесть «благородного» (III/IV, 467), «добродетельного» лица (V, 215) [Виноградов 2024a], Гоголь в образе самого Поприщина напоминает читателю о преображении человека. В последней сцене искренность героя перед собой, которая наконец становится доступной «испанскому королю», сознание своей духовной нищеты («...Наг я вышел из чрева матери моей...»; Иов 1, 21), закономерно вызывают в нем жажду очищения и возвращения блудного сына к Отцу. На это глубоко ценимое качество Гоголь обращал внимание в письме к Н.М. Языкову от 2 января (н. ст.) 1845 г. (явно подразумевая при этом «собачью» жизнь Поприщина и заключительный миг его пробуждения): «...Блажен тот, кто, оторвавшись вдруг от разврата и от подлой пресмыкающейся жизни, <...> *особачившим* дни ее, <...> вдруг пробуждается в *великую минуту* и <...> входит в трезвость души <...> и становится таким образом возвышеннее даже того, кто всю жизнь провел в честности» (XIII, 12; курсив мой. – *И.В.*). В образе прозревающего Поприщина сказывается тот психологизм, который лег позднее в основу изображения «мертвых душ» в одноименной поэме Гоголя. По предельной исповедальности и искренности монолог героя в полной мере предвосхищает те исповедь и покаяние, которые принес у Ф.М. Достоевского Раскольников в «Преступлении и наказании». Несмотря на разность героев, общим для них является христианская жажда восстановления в себе падшего человека.

«Проблеск» сознания героя «Записок сумасшедшего» становится возвращением блудного сына из «Испании» в Россию – на «тройке быстрых, как вихорь, коней»: «Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеса, кони, и несите меня с этого света! <...> ...С одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют» (III/IV, 176). Эти строки прямо перекликаются, с одной стороны, с изображением «бледного отражения чувства, явления, подобного неожиданному появлению на поверхности вод утопающего» в трагическом образе Плюшкина в «Мертвых душах» [Виноградов 2019d: 115–116], с другой – с знаменитым изображением здесь же, в финале поэмы, «вдохновенной Богом» Руси-тройки, летящей «вихрем», «по воздуху», в неведомую даль (V, 239) [Гуковский 1959: 318–319; Паламарчук 1990a: 389]¹.

«Возврат» Поприщина – из «небытия» безумия – на родину, на тройке с колокольчиком, «повторяется» и в словах статьи Гоголя «Петербургская сцена в 1835–36 г.» о «возврате» нашей «славянской певучей природы» от французских «неистовых»,

¹ Подобным образом сват Кочкарев в «Женитьбе», потенциальный вдохновитель «байбака» Подколесина к новой жизни, упоминает о своих лошадях-«птицах»: «А мои гнедые птицы <...> хоть кого обгонят» [Гоголь 1937–1952. 5: 318].

«безобразных» мелодрам к «утешительной» опере, которую следовало бы сочинить «из наших народных мотивов»: «Это не наша ли славянская певучая природа так действует? И не есть ли стремление это – возврат к нашей старине после путешествия по чужой земле европейского просвещения, где около нас говорили всё непонятным для <нас> языком и мелькали незнакомые люди, но возврат на русской тройке, с заливающимся колокольчиком, с которой мы привстаем на бегу, помахиваем шляпою и говорим: в гостях хорошо, а дома лучше» (VII, 505–506).

В «Арабесках» «музыкальному» мотиву возврата русского человека на родину соответствует содержание статей «Скульптура, живопись и музыка» и «О малороссийских песнях» [Дерюгина 2009а: 523]. В первой говорится о значении музыки в противостоянии современному меркантилизму, во второй – что «только в последние годы, в эти времена стремления к самобытности и собственной народной поэзии, обратили на себя внимание малороссийские песни, бывшие до того скрытыми от образованного общества и державшиеся в одном народе» (VII, 170). Подобно высокому значению фамильного прозвища героя, эти переклички статей о музыке с «Записками сумасшедшего» тоже указывают на позитивный контекст, на фоне которого совершается «европейски» окрашенное сумасшествие Поприщина.

Работе над «Владимиром 3-ей степени» в 1833 г., по-видимому, существенно способствовал приезд 20 ноября в Петербург А.С. Пушкина [Виноградов 2017–2018. 2: 262] (поэт отсутствовал тогда в Петербурге более трех месяцев). Вскоре, 2 декабря 1833 г., Гоголь прочел Пушкину написанную в его отсутствие «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (повесть о двух ссорящихся безумцах), а Пушкин в тот же период познакомил Гоголя с написанными осенью 1833 г. в Болдино поэмами «Анджело» и «Медный всадник» [Виноградов 2017–2018. 2: 264, 266]. Перекличка с «Анджело» появилась летом-осенью 1834 г. в статье Гоголя в «Арабесках» «Ал-Мамун»¹. Размышления о безумии, воплощенные Пушкиным в «Медном всаднике» (опубл. в 1837 г.), вероятно, тоже нашли отражение в работе Гоголя, сказавшись, во-первых, во «Владимире 3-ей степени», а затем в «Записках сумасшедшего»². В частности, с чертой пушкинского героя, сходящего с ума, перекликается зависть Поприщина к успехам других. Евгений также замечает: «Что ведь есть / Такие праздные счастливыцы, / Ума недалежного, ленивыцы, / Которым жизнь куда легка!» [Пушкин 1837а: 7]. Почти тождественным является и «политический» аспект безумия обоих героев. «Злобный», «обуянный силой черной» Евгений готов поднять бунт против самого царя (по ненависти к правителю это роднит его с цареубийцами из пушкинской оды «Вольность»: «Вином и злобой упоенны, / Идут убийцы потаенны. <...> О стыд! о ужас наших дней! / Как звери, вторглись янычары!..» [Пушкин 1937–1959. 2, кн. 1: 44–45]). «Революционному» настроению пушкинского героя вполне соответствует «бунтарская» – пагубная для государства – «бездеятельная деятельность» сумасшедших чиновников Гоголя, пренебрегающих исполнением своего гражданского и христианского долга, – нерадивых исполнителей воли Государя.

Одновременно, как подметил В.Г. Одинок [Одинок 2006: 32–33], дается ответ и на вопрошание, поставленное в «Медном всаднике»: «Куда ты скачешь,

¹ В поэме Пушкина: «...Дук переодетый <...> все видел, наблюдал... <...> ...Он <...>, может быть, хотел / Халифу подражать Гаруну Аль-Рашиду» [Пушкин 1834: 74]. В гоголевской статье: «Гарун умел ускорить весь административный государственный ход <...> страхом своей вездесущности. Наместники и эмиры <...> опасались встретить всезрящего, переодетого калифа...» (VII, 349).

² Отмечена общая близость образов пушкинского Евгения в «Медном всаднике» и гоголевского Поприщина [Пумпянский 1986: 111, 114].

гордый конь, / И где опустишь ты копыта?» [Пушкин 1937–1959. 5: 147]. Образ устремленного в будущее, первоначально на Запад, петровского коня превращается в «Записках сумасшедшего», а затем в «Мертвых душах» в летящую тройку, возвращающуюся «после путешествия по чужой земле европейского просвещения» на родину (VII, 505). Воплощенные в повести неидеальные образы Германии, Англии, Франции, Испании сменяются в глазах героя мелькнувшей на миг Италией и видом русских изб с родным домом: «в гостях хорошо, а дома лучше» (VII, 506).

9. ПСЕВДОКУЛЬТУРА

Пробуждение Поприщина оканчивается, однако, новым погружением в бред. Сознание соскальзывает в колею привычного образа жизни, круга интересов и полученного образования. Происхождение безумия Гоголь ищет не в патологии и физиологии, но в круге понятий, формирующих человека.

Одной из «сквозных» и устойчивых тем обличительных произведений Гоголя является тема мнимых ценностей, псевдо-«духовных» авторитетов и ориентиров, которыми руководствуются представители «просвещенного» образа жизни (см. подробнее: [Виноградов 2024]). В «Записках сумасшедшего» дезориентирующий, мнимовозвышенный характер всевозможных обольщающих пристрастий – литературных, культурных, политических – подчеркивается, во-первых, узким, примитивным кругом чтения и ярмарочно-театральными интересами героя. Поприщин записывает в дневнике: «Был в театре. Играли русского дурака Филатку. Очень смеялся» (III/IV, 162).

Под «дураком Филаткой» («Филатка м. дурачок...» [Даль 1882. 4: 549]) имеется в виду один из псевдонародных петербургских водевилей – «Филатка с детьми на деревенском празднике» П.И. Григорьева 1-го или «Филатка и Мирошка – соперники, или Четыре жениха и одна невеста» П.Г. Григорьева 2-го¹. С конца XVIII – начала XIX в. «урод Филатка» был также предметом сатирического изображения на лубочных картинках [Гозепуд 1959: 126].

Характеризуя поручика Пирогова в «Невском проспекте», повествователь тоже упоминает о «Филатках»: «В театре, какая бы ни была пьеса, вы всегда найдете одного из них, выключая разве если уже играют какие-нибудь “Филатки”, которыми очень оскорбляется их разборчивый вкус» (III/IV, 29–30). Из этого замечания явно следует, что «вкус» героя «Записок сумасшедшего» настолько «малоразборчив», что оказывается ниже, чем даже у пошлого поручика. Однако, несмотря на ограниченный кругозор, Поприщин считает себя многим выше окружающей среды: «Я люблю бывать в театре. Как только грош заведется в кармане – никак не утерпишь не пойти. А вот из нашей братьи чиновников есть такие свиньи: решительно не пойдет, мужик, в театр; разве уже дашь ему билет даром. Пела одна актриса очень хорошо» (III/IV, 162–163).

Далее в дневнике герой записывает: «После обеда ходил под горы» (III/IV, 170), т. е. посетил народные гулянья и балаганские представления вокруг ледяных гор, которые традиционно устраивались в Петербурге на Дворцовой и Адмиралтейской площадях. В исключительном репертуаре этих представлений были французские и итальянские пантомимы. Обзоры петербургских балаганных уве-

¹ Пьесы были поставлены, одна за другой, на сцене петербургского Александринского театра 23 ноября и 30 ноября 1831 г.; представления давались в последующие сезоны 1832/33, 1833/34, 1834/35 гг.; не выходили из репертуара и позднее; [Вольф. 2: 22, 26, 31, 35, 39, 49, 55, 62, 80, 90, 99, 108, 185]. Известен также водевиль «Митавская ярмарка, или Филатка в маскарде», дававшийся в Малом театре в Москве 15 июня 1831 г. и 13 июля 1832 г. [Гозепуд 1959: 314–319, 620].

селений рекламного характера часто помещал в 1827–1836 гг. в своей газете «Северная Пчела» Ф.В. Булгарин [Виноградов 1999].

Кроме того, Поприщин с увлечением читает в той же болгаринской газете, в «Пчелке», «очень приятное изображение бала, описанное курским помещиком» (III/IV, 161). Как выясняется, статьей, читаемой Поприщиным, является «Письмо из Курска в столицу» неизвестного, напечатанное в газете под псевдонимом «П–в» 5 марта 1832 г. [Виноградов 2024]. Курский корреспондент с восхищением описывает роскошный бал, устроенный для местного дворянства губернатором П.Н. Демидовым: «Полтора человека трудились неусыпно около пяти недель над убранством всех зал... <...> Тысячи, мириады прелестно расположенных разнородных огней отражаясь во множестве зеркальных и металлических украшений, ослепляли зрение... <...> Мне казалось, <...> я вижу <...> волшебные места величественного Эльборуса... <...> Что касается до самого общества, то напрасно старался бы я изобразить изящность оною, особенно прелестного пола, которым Курск <...> всегда славился и гордился. <...> В 5 часов по полуночи кончился сей блистательный бал» [П–в 1832: 2–3].

В бальной теме – с сочетанием на «сияющих» балах роскоши и женского обаяния – обличительные мотивы «Записок сумасшедшего» переплетаются. Позднее, в заметках «К 1-й части» «Мертвых душ», Гоголь, указывая на сугубое «соединение» в бальной атмосфере светских соблазнов, подмечал: «Сторона *главная*, бальная, общества» (V, 503; курсив мой. – И.В.). За «богатым убранством» директорской квартиры, с «зеркалами и фарфорами», которым прельщается герой (III/IV, 163), скрывается «будуар» светской красавицы, любящей балы: «...Софи <...> в чрезвычайной суматохе <...> собиралась на бал... <...> ...Софи всегда чрезвычайно рада ехать на бал...» (III/IV, 166). С бала красавица приезжает «в шесть часов утра» (III/IV, 166). (Едва ли не намеренно Липушку «Невского проспекта» Гоголь тоже характеризует репликой: «А я только что теперь проснулась; меня привезли в семь часов утра»; [Гоголь 1937–1952. 3: 32, 365].) Будуар героини с роскошными нарядами Поприщин называет «раем, какого и на небесах нет» (III/IV, 163).

К проблеме мнимодуховных культурных «запросов» героя присоединяется в повести тема ограниченного политического кругозора героя. Эта составляющая образа Поприщина тоже соотносится с содержанием газеты Булгарина «Северная Пчела»; кроме того, является продолжением в повести «польской» темы¹. Ф.В. Булгарин – польский уроженец, католик по вероисповеданию, служил в 1812 г. в войсках Наполеона, впоследствии – друг декабристов и сотрудник III Отделения. Характеризуя Булгарина, А.Ф. Воейков в известной сатире «Доме сумасшедших» писал: «Сабля в петле, а французский / Крест зачем же он забыл? / Ведь его он кровью русской / И предательством купил»; «Но на чем же он помещан? / Совесть ум убила в нем: / Все боится быть повешен / Или высечен кнутом» [Дельвиг 1912: 106; см. также: Поэты... 1971: 300]².

¹ См. выше примеч. к разделу 5.

² О «сатире на литераторов Воейкова – “Дом сумасшедших”» сам Гоголь упоминал позднее в статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Воейковскую сатиру он относил к сочинениям, «в которых всюду видна большая сила» и в которых «желчь Ювенала соединилась с каким-то особенным славянским добродушием» (VI, 183). 19 февраля 1832 г. Гоголь присутствовал на обеде, данном петербургским литераторам А.Ф. Смирдиным по случаю переезда его книжного магазина. На этом обеде Воейков читал публично отрывки из «Дома сумасшедших», посвященные Н.И. Гречу, Ф.В. Булгарину и Н.А. Полевому [Дельвиг 1912: 105–106].

Благодаря показному патриотизму «сумасшедший» (по определению Воейкова) Булгарин получил право печатать в своей газете зарубежные новости. Именно в «Северной Пчеле» из номера в номер подробно освещались «испанские дела», которыми интересуется герой «Записок...». В газете этим событиям периодически отводился специальный отдел, который так и назывался: «Испанские дела» (впервые появился в газете 26 октября 1833 г.; сохранялся там до конца года; существовал в газете и позднее, после завершения Гоголем повести). В рассуждениях Поприщина об «испанских делах» нашли отражение действительные исторические события 1833 г.: смерть короля Фердинанда VII и последовавшая за этим борьба за испанский престол, в которой принимали участие заинтересованные иностранные государства, в частности Англия и Франция¹.

С чтением «Северной Пчелы» связано и упоминание Поприщина об «алжирском дее» (в черновой редакции вместо «алжирского дея» упоминался «французский король» [Гоголь 1937–1952. 3: 214, 571]). Именно «Деем Алжирским» правитель Алжира назывался в публикациях газеты, посвященных завоеванию страны французами в 1830–1834 гг.²

Однако искать в политических рассуждениях Поприщина какого-то глубокого смысла не приходится. Рассуждения о политике героя, теряющего рассудок, являются, по Гоголю, не более чем пустыми умствованиями, подобными рассуждениям о сходных «французских делах» одного из героев «Невского проспекта». Псевдозначимый разговор о французской политике, «о Лафайете» (III/IV, 39), занимает в «Невском проспекте» героя вместо должного внимания к своей жене – так же, как «испанские дела» «удерживают» героя «Записок сумасшедшего» от хождения в департамент, от службы: «Я было уже совсем хотел идти в департамент, но разные причины и размышления меня удержали. У меня всё не могли выйти из головы испанские дела. <...> ...Эти происшествия так меня <...> потрясли, что я решительно ничем не мог заняться... <...> Большею частью лежал на кровати и рассуждал о делах Испании» (III/IV, 170) (см. подробнее: [Виноградов 2021а: 239–240]). Умствования о политике являются для Поприщина таким же обманчиво «возвышающим» его в собственных глазах «делом», каким является для него столь же мнимовысокое увлечение театром. Занятия политикой входят в круг его *королевских* «обязанностей», занятий, делающих его важным лицом.

Аналогией к «переживаниям» Поприщина по поводу европейской политики является горделивый интерес праздной аристократической дамы в третьей главе «Мертвых душ» к тому, «какой политический переворот готовится во Франции, какое направление принял модный католицизм» (V, 58), т.е. тоже к «французским» и другим европейским делам. Дама занята этими вопросами вместо должного внимания к тому, «что делается в ее доме и в ее поместьях, запутанных и расстроенных благодаря незнанию хозяйственного дела» (V, 58). В образе ари-

¹ «“Испанские дела” 1833 г., за которыми следит Поприщин по “Северной Пчеле”, доведены Гоголем до провозглашения королевой малолетней дочери Фердинанда VII <...>, лишь до первой вспышки вызванного этим движения карлистов, сторонников Дон-Карлоса, брата Фердинанда VII; право на престол племянницы Дон-Карлос оспаривал... <...> Возможно, что по замыслу Гоголя Дон-Карлос 1833 года сливается в фантазии Поприщина с героем Шиллера, и что именно поэтому, попав в сумасшедший дом, Поприщин принимает его обитателей за доминиканских монахов, а больничного надзирателя – за великого инквизитора (Карлос у Шиллера отдан Филиппом в руки великого инквизитора)» [Комарович 1938: 703–704]. – О драме Ф. фон Шиллера «Дон Карлос» Гоголь упоминал в письме к А.С. Данилевскому от 8 февраля 1833 г. (X, 210).

² См.: Северная Пчела. 1830. 22 мая. № 61. С. 3; 28 июня. № 77. С. 3; 19 июля. № 86. С. 3; 26 авг. № 102. С. 3; 4 сент. № 106. С. 3; 1831. 19 сент. № 211. С. 2.

стократической дамы – «сестры» Коробочки (V, 58) – Гоголь подразумевал княгиню З.А. Волконскую, известную отступничеством от Православия. В качестве прообраза космополитической дамы, кроме Волконской, Гоголю, по-видимому, послужила неверная жена из упомянутой пушкинской поэмы «Граф Нулин», которая «совсем / Своей хозяйственной частью / Не занималась, затем, / Что не в отеческом законе / Она воспитана была, / А в благородном пансионе / У эмигрантки Фальбала» [Пушкин 1827: 5].

Праздный интерес Поприщина к «испанским делам», заключительная фраза в его дневнике о том, что «у алжирского дея под самым носом шишка», вполне «родственны» и беседе «двух толстяков» о «строящейся церкви» в том же «Невском проспекте» (вместо разговора об «архитектуре» те рассуждают, «как странно сели две вороны одна против другой»; III/IV, 39), разговору двух праздных «русских мужиков, стоявших у дверей *кабака*» в начальной главе поэмы, о том, куда доедет и куда не доедет «колесо» чичиковской брички (V, 9; курсив мой. – И.В.). В целом политические рассуждения Поприщина, вместо исполнения им служебного долга, связаны с представлениями Гоголя о пагубном «рассеянии» современного «цивилизованного» человека, определившие общий замысел «Арабесок» [Виноградов 2021b: 282–288]. Повесть является историей человека, находящегося в «состоянии внутренней раздробленности»; поднимает проблему обретения «духовной целостности» [Бурмистрова: 256].

Об авторской оценке занятий Поприщина политикой можно судить по тому, как относился к истории и политике сам Гоголь. Писатель неизменно подчеркивал, что «прошедшее <...> и отдаленное возлюбляется по мере его надобности и потребности в настоящем» (письмо к Н.М. Языкову от 2 января (н. ст.) 1845 г.; XIII, 11). В «Авторской апологии» (или, как неточно называют это произведение, «Авторской исповеди» [Виноградов 2022b]) Гоголь замечал: «У меня не было влечения к прошедшему. Предмет мой была современность в ее нынешнем быту...» (VI, 231). Комментируя признание Гоголя, протопресвитер В.В. Зеньковский в одной из своих ранних работ писал: «История была дорога Гоголю лишь как ключ к настоящему, не сама по себе в своей фактичности и неповторимости, а в ее смысле, если угодно – в ее уроках» [Зеньковский 1916: 44]. Конкретную «фактичность» мировой истории и ее общее содержание Гоголь оценивал по преимуществу как цепь приближений человечества к истине или удалений от нее, заблуждений на пути к Богу: «Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносащие далеко в сторону дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины, тогда как перед ним весь был открыт прямой путь, подобный пути, ведущему к великолепной храмине, назначенной царю в чертоги» (V, 203); «...Во всемирной летописи человечества много есть целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил как ненужные. Много совершилось в мире заблуждений, которых бы <...> теперь не сделал и ребенок» (V, 203). О «ничтожности» множества мировых событий – с точки зрения их итогов и в отношении к конечной цели истории – Гоголь размышлял в период создания «Записок сумасшедшего» в «Миргороде», в историческом отступлении рассказчика «Старо-светских помещиков»: «Какой-нибудь завоеватель собирает все силы своего государства, воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и наконец все это оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля; а иногда <...> два какие-нибудь колбасника двух городов подерутся между собою за вздор, и ссора объемлет <...> целое государство» (I/II, 293). При этом Гоголь

и в «Старосветских помещиках» подчеркивал практический характер своих занятий историей: «Но оставим эти рассуждения: <...> я не люблю рассуждений, когда они остаются только рассуждениями» (I/II, 293). Герой «Записок сумасшедшего», поглощенный европейской политикой, никаких по-настоящему нравоучительных, практических уроков из современной истории для себя не извлекает. Напротив, чтение колонки «Новостей заграничных» «Северной Пчелы» становится для него одной из причин сумасшествия, обывательским следованием общим заблуждениям толпы.

10. «ДОНКИШОТСТВО»

В критике мнимых ценностей, которую воплотил Гоголь в образе Поприщина, значимое место занимает авторское понимание своего героя как безумного Дон Кихота. Черты смешного испанского безумца сказываются прежде всего в заботе Поприщина о «нежном шаре» – луне – и в беспокойстве героя о том, что «земля вещество тяжелое и может, насевши, размолоть в муку носы наши» (III/IV, 174), – отчего тот спешит «в залу Государственного совета, с тем чтоб дать приказ полиции не допустить земле сесть на луну» (III/IV, 174). Отмечен целый ряд других черт Дон Кихота в облике Поприщина [Светлакова 2011: 429–431, 434]. Необходимо при этом иметь в виду, что понимание «рыцаря Печального Образа» в XVIII – первой половине XIX в. существенно отличалось от того, как этот образ стал интерпретироваться позднее. Образ Дон Кихота во времена Гоголя оценивался, за редкими исключениями, только критически – как тип неразумного мечтателя и волокиты. В романе Сервантеса гоголевские современники видели преимущественно сатиру на этот отрицательный тип [Любимова 1969: 182]. Так, писатель Н.М. Яновский, автор упомянутого энциклопедического словаря «Новый словотолкователь», в статье «Роман» писал: «Господство рыцарей и рыцарских романов продолжалось и до самого того времени, как Мигель Сенвант, Гиспанец, издал в свет роман свой под названием Дон Кишота, <это> прекрасное творение и весьма острая сатира начет всего Гиспанского дворянства, которое было им столько осмеяно, что наконец оно принужденным нашлось оставить вкус к рыцарству, быв до того страстно к нему приверженным» [Яновский 1806. 3: 579]. В другой статье – «Паладин» – Яновский добавлял: «Паладин. Витязь, богатырь. Так называют древних странствующих рыцарей... <...>; сии рыцари искали разных случаев, <...> дабы ознаменовать свое мужество и волокитство. <...> Из числа рыцарей сего рода был знаменитый Дон Кишот <...>, прекрасно описанный Сервантом Сааведрою» [Яновский 1806. 3: 174–175].

Представление о «Дон Кихоте» как сатире Сервантеса на своего героя в полной мере разделял и Гоголь. В качестве нарицательного имя Дон Кихота он неизменно употреблял в отрицательном контексте. Говоря о романе Сервантеса, он писал, что в «Дон Кихоте» тот «посмеялся над охотой к приключениям, оставшимся, после рококо, в некоторых людях» («Учебная книга словесности для русского юношества»; VI, 332)¹.

Негативные черты безумца Дон Кихота определяют облик Поприщина преимущественно в политическом отношении. В том же номере «Северной Пчелы», где было помещено прочитанное Поприщиным описание курского бала (от 5 марта 1832 г.), в разделе «Новости заграничные» сообщалось: «Франция. Париж, 2-го

¹ Под «рококо» Гоголь подразумевал стиль барокко, родственный романтизму (о критике Гоголя романтизма, с его ложновозвышенным пафосом, свойственным, в частности, по оценке Гоголя, немецкому романтику Ф. фон Шиллеру, см.: [Виноградов 2022с]).

Марта н. ст. <...> В течение недели опять забраны под стражу в Париже до 70 человек, по подозрению в заговоре против Правительства. Но ночам ходили по городу многочисленные патрули от войск и от народной гвардии; но по сие время ничто не оправдало сих мер предосторожности» [Новости заграничные 1834: 1]. Вероятно, именно с этими газетными строками связана запись Поприщина в дневнике, прямо предваряющая восхищение курским балом: «Эка глупый народ французы! Ну, чего хотят они? Взял бы, ей-Богу, их всех, да и перепорол розгами!» (III/IV, 160–161).

На вопрос о том, «чего хотят» представители революционной Франции, Гоголь неизменно отвечал, что «идеалы» революции всегда заключаются в понятиях сытости и довольства – в стремлении «пить и есть» (см.: [Виноградов 2017–2018. 7: 19–20]). Эта «низменная» оценка одной из политических сторон соединялась, однако, у Гоголя с не менее критическим взглядом на «консервативную» составляющую политики. Осуждающее отношение Поприща к «глупому народу французам» определенно предваряет гоголевскую характеристику в «Выбранных местах из переписки с друзьями» героя комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» «глупого фрунтовика Скалозуба», носителя мнимоконсервативных взглядов, – который полагает, что «весь мир можно успокоить, давши ему в Вольтеры фельдфебеля» (VI, 186) [Виноградов 2021b: 289–290].

Сам Гоголь, обличающий в «Записках сумасшедшего» «европейское» сумасшествие светского общества, «вредного <...> духу правительства своей двусмысленной жизнью» (VI, 185), выступает при этом как последовательный славянофил-«государственник», подобный Н.М. Карамзину, С.С. Уварову, М.П. Погодину, С.П. Шевыреву, М.А. Максимовичу [Виноградов 2019a; 2019b; 2021c].

Мотивы «Горя от ума» и мотивы «Дон Кихота» в равной степени пронизывают «Записки сумасшедшего». На идейную близость проблематики произведений Сервантеса и Грибоедова указывал сам Гоголь. По его словам, комедия Грибоедова «выставила болезни от дурно понятого просвещения, <...> взяла *донкишотскую* сторону нашего европейского образования» (VI, 184; курсив мой. – И.В.). Недалеким «рыцарем» «Дон Кишотом» в «Горе от ума», является, по определению Гоголя, во-первых, «глупый либерал Репетилов, рыцарь пустоты во всех ее отношениях, рыскающий по ночным собраниям, радующийся, <...> когда удастся ему пристегнуться к какому-нибудь обществу, <...> которого бредни слушает он <...> в уверенности, что <...> тут кроется действительно какое-то общественное дело, которое <...> как раз созреет, если только <...> станут почаще собираться по ночам да позадористей между собою спорить» (VI, 185–186). По поводу главного героя грибоедовской комедии, Чацкого, Гоголь тоже замечал: «Такое скопище уродов общества <...> должно было вызвать в отпор ему другую крайность, которая обнаружилась ярко в Чацком. В досаде и справедливом негодовании противу их всех Чацкий переходит также в излишество, не замечая, что через это самое <...> он делается сам нестерпим и даже смешон» (VI, 186). Такая оценка Гоголем Чацкого совпадала с пушкинской¹.

Выступая в истолкованиях Репетилова и Чацкого против политического радикализма, в том числе со стороны некоторых своих непримиримых друзей-славя-

¹ А.С. Пушкин 28 января 1825 г. писал князю П.А. Вяземскому: «Чацкий совсем не умный человек...» [Пушкин 1937–1959. 13: 137]. В письме к А.А. Бестужеву от конца января 1825 г. поэт пояснял: «Первый признак умного человека – с первого взгляду знать с кем имеешь дело и не метать бисера перед Репетиловыми...» [Пушкин 1937–1959. 13: 138]. В.Г. Белинский в «примирительный» период своей деятельности тоже писал: «Чацкий <...> хочет исправить общество <...> своими собственными глупостями, рассуждая с глупцами...» [Белинский 1953–1959. 3: 449].

нофилов, представителей «правой фронды», Гоголь добавлял: «...Чацкий показывает только стремление чем-то сделаться, выражает только негодование противу того, что презренно и мерзко в обществе, но не дает в себе образца обществу» (VI, 186). В статье «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности» Гоголь пояснял: «Односторонность в мыслях показывает только то, что человек еще на дороге к христианству, но не достигнул его...» (VI, 66). В другой статье – «Споры» – Гоголь отмечал: «Все эти славянисты и европисты, <...> покамест <...> мне кажутся только карикатуры на то, чем хотят быть...» (VI, 51). Упомянув в письме к С.Т. Аксакову от 16 мая (н.ст.) 1844 г. о его «рыцарствующем» сыне Константине, Гоголь замечал, что говорить о нем что-либо определенное рано, поскольку тот «совершенно в руце будущего» (XII, 393). Подобным образом и по поводу не менее радикального во взглядах А.С. Хомякова Гоголь в статье о русской поэзии указывал, что будущее того «покуда еще <...> не разоблачилось» (VI, 173). В.Г. Белинскому, в свою очередь, Гоголь, отвечая на его зальцбруннское письмо, писал: «Наступающий век есть век разумного сознания... <...> Он велит нам оглядывать многосторонним взглядом старца, а не показывать горячую прыткость рыцаря прошедших времен...» (XIV, 411)¹.

Противопоставляя хвастливую «донкишотскую замашку благородством духа» (письмо к А.О. Смирновой от 24 декабря (н.ст.) 1844 г.; XII, 553) трезвому христианскому взгляду на человека, Гоголь отмечал, что, наряду с «донкишотами», в обществе есть «много истинно рассудительных людей» (III/IV, 452), обращающих внимание не на оппозиционные «бредни» (VI, 185), а на всеобщую греховность человеческой природы, которая и является настоящим источником общественных неустройств. Гоголь обращался к тем, кто ценит христианское обличение и не обижается на правду *о самом себе* – «которые будут рады всегда, если будет выведен на всеобщее осмеяние порочащий свое звание»: «Да и в чем здесь обида? Подавайте, подавайте нам его, мы всякий день готовы смотреть» («Театральный разъезд после представления новой комедии»; III/IV, 452).

Защиту недостойного либо пустого (олицетворяемого «спасаемой» Поприщиным «луной») Гоголь называл «рыцарством пустоты» (VI, 185) и объяснял это «донкишотство» в русском характере западным влиянием. Такому «рыцарству» Гоголь противопоставлял исконную русскую черту не проявлять к негативным явлениям ложного снисхождения. В статье «О лиризме наших поэтов» он писал: «Вспомни <...> то умиленное зрелище, какое представляет посещение <...> народом ссыльных, отправляющихся в Сибирь... <...> Ненависти нет к преступнику, нет также и *донкишотского* порыва сделать из него героя, собирать его факсимили, портреты, или смотреть на него из любопытства, как делается в просвещенной Европе. Здесь что-то более: не желанье оправдать его или вырвать из рук правосудия, но воздвигнуть упавший дух его, утешить, как брат утешает брата, как повелел Христос нам утешать друг друга» (VI, 49–50; курсив мой. – И.В.).

Еще в 1836 г. в статье «Петербургская сцена в 1835–36 г.», Гоголь, говоря о людях, «какими производятся мятежи в обществах», т. е. о тех, кто «спешит сгоряча помогать на донкишотский образец, когда еще не умеет помогать» (письмо Гоголя к матери от 25 января (н.ст.) 1847 г.; XIV, 45), замечал: «Они видят несвойственные формы, не соответствующие нравам и обычаям правила и ломаются напролом

¹ По-видимому, в размышлениях о «Дон-Кихотах XIX столетия» сказалось общение Гоголя в 1832–1833 гг. – тоже, очевидно, не без дружеской полемики – с князем В.Ф. Одоевским (см. ниже раздел 13). Позднее тот опубликовал отрывок из повести с одноименным названием, «сказку для старых детей» «Сегелиель, или Дон-Кихот XIX столетия», датировав это произведение 1832 г. [Одоевский 1838].

чрез все. Они не видят границ, ломают без рассуждения все и всегда, и, желая исправить несправедливость, они в обратном количестве наносят столько же зла» (VII, 503)¹. «Что до политических событий, – замечал позднее Гоголь в неотправленном письме к Белинскому 1847 г., – само собою умирилось бы общество, если бы примиренье было в духе тех, которые имеют влияние на общество» (XIV, 382). Об этом же Гоголь писал в духовном завещании «Друзьям моим» (VI, 413–414).

«Горе от ума» и «Записки сумасшедшего» объединяет прежде всего одинаковый открытый финал. Судьба Поприщина, колеблющегося от просветления к безумию, от стремления умчаться на тройке погружающегося вновь в мир политики, оставлена неопределенной. Так же неизвестна судьба Чацкого, уносящегося в карете от толпы «мучителей», которые «всем хором» ославили его «безумным» [Грибоедов 1833: 166–167; Данилевский 2011: 186]. Однако ни бунтующую «идеологию» Чацкого, ни такую же, с обратным знаком, радикальную «идеологию» Скалозуба, Гоголь одинаково не разделяет – оценивая их в равной мере как «излишество» и «крайность».

Согласно Гоголю, обе стороны общественного противостояния – ультра-«революционная» и радикально-«консервативная» – проявляют одинаковую узость. При «рыцарстве» и искренности убеждений те и другие оказываются одинаково ограниченными «Дон-Кишотами». Одного из таких неразумных рыцарей Гоголь вывел в «Мертвых душах», сравнивая Ноздрева, намеревающегося избить Чичикова, с «отчаянным поручиком», «которого взбалмошная храбрость уже приобрела такую известность, что дается нарочный приказ держать его за руки во время горячих дел» (V, 85).

Мысль о встречном «донкишотском» безумии ультрареволюционеров и радикальных консерваторов, воплощенная в «Записках сумасшедшего», сопровождается не только критикой в адрес «глупых» французов, но и обличением «глупых» Скалозубов – и прямым призывом к «значительному лицу», «государственному человеку», «двойником» которого является Поприщин, перейти от обеспечения роскошного, для себя, образа жизни, от удовлетворения тщеславия, заботы о наградах к исполнению подлинно государственных обязанностей. В этом повесть вполне созвучна пророческому обличению: «Князья твои <...> общницы татем, любяще дары, гоняще воздаяние, сирым не судящие и суду вдовиц не внимающие» (Ис. 1, 23). Позднее, в статье «Предметы для лирического поэта в нынешнее время», Гоголь советовал поэту Н.М. Языкову: «Разогни книгу Ветхого Завета: ты найдешь там каждое из нынешних событий, ясней как день увидишь, в чем оно преступило пред Богом...» (VI, 68).

11. СЕРВАНТЕС И АРИОСТО

С Сервантесом как писателем, разоблачающим ложные увлечения, Гоголь сближает Ариосто, «лунные» образы которого, через посредство Батюшкова, тоже использовал в «Записках сумасшедшего»². В «Учебной книге словесности...» Гоголь замечал: «...Ариост изобразил почти сказочную страсть к приключениям и к чудесному, которым была занята на время вся эпоха, а Сервантес посмеялся над охотой к приключениям, оставшимся, после рококо, в некоторых людях, <...> тот и другой сжились с взятою ими мыслью» (VI, 332).

¹ Ср. также истолкование образа Дон Кихота Ф.М. Достоевским в 1877 г.: [Достоевский 1972–1990. 26: 24–27]. О переключках в творчестве Достоевского между типами «идеалиста-мечтателя» Дон-Кихота, Чацкого и князя Мышкина см.: [Бем 1931: 101–108; Бем 2001: 153–164].

² См. об этом в следующем разделе наст. статьи.

То же соседство имен Сервантеса и Ариосто – как писателей не «мечтательных», но *верных* жизни (в отличие от романтика Шиллера, приукрасившего и *исказившего* в своих произведениях природу человека) – по крайней мере четырежды встречается в черновиках первого тома «Мертвых душ», где повествователь размышляет по поводу своего героя Чичикова: «Автор предвидит <...> заранее, что <...> наружность его героя <будет> <...> не по вкусу <читателям> <...> но никаким образом не может <...> взять в герои добродетельного человека. <...> ...Он <...> не имеет обыкновения смотреть по сторонам, <...> если же и подымет глаза, то разве только на висящие перед ним на стене портреты Шекспира, Ариосто, Фильдинга, Сервантеса, Пушкина, отразивших природу таковою, как она была, а не таковою, как угодно было кому-нибудь, чтобы она была» [Гоголь 1937–1952. 6: 553–554]; см. также [Гоголь 1937–1952. 6: 644, 645, 842].

По-видимому, в таком понимании поэзии Ариосто – как предшественника Сервантеса в критике всеобщих заблуждений – Гоголь следовал Н.И. Надеждину, который в свою очередь, как и он, всегда выступал против подражания «романтическому», «ложному» направлению – против следования французскому «неистовому» романтизму [Надеждин 1830а; 1830b; 1834; 1836]. Надеждин тоже сближал Ариосто и Сервантеса, делая одного предтечей другого. В 1829 г. в своей диссертации на латинском языке «О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической»¹ тот писал: «...Ариост произвел <...> очаровательный хаос, <...> который, несмотря на то, величайшею своею неправильностью и нестройностью намекает на внутреннюю гармонию творческого духа. <...> Кто столько проникателен и прозорлив, чтобы мог найти сокровище в лабиринте Ариостова “Неистового Орланда” и уловить его в ясное понятие? <...> ...XVI век – свидетель упадка рыцарства – был еще озарен блеском славы романтической поэзии. <...> Но в этом самом золоте <...> можно уже видеть признаки внутренней ржавчины. <...> ...Ариост, в своем “Неистовом Орланде”, представлял героическое великодушие рыцарей, <...> как тень *уже умершего мира*... <...> Но нигде романтическая поэзия не явилась пережившею романтический мир очевиднее, как в знаменитом “Дон-Кихоте” Сервантеса. Там романтический дух вооружился сам против себя и в огромной картине, ознаменованной изяществом романтическим, выставил на позор и осмеяние, как решительно несовместное с настоящим порядком вещей, то героическое великодушие и исступление, коим одушевлены были древние паладины» [Надеждин 1972: 156, 176, 222–223]. – По Гоголю, иначе как иронией автора нельзя объяснить путешествие «в луну» героя Ариосто, где тот находит свой «ум».

Р.Г. Назиров в 1980 г. отметил, что к безумному рыцарю-«спасителю» Сервантеса имеет отношение и художник Пискарев в «Невском проспекте», проявляющий «рыцарское» отношение к женщине и составивший «легкомысленный план» «возвратить миру прекраснейшее его украшение» (III/IV, 26) [Назиров 1980: 98]. (Поприщина и Пискарева объединяет и то, что герой «Записок сумасшедшего», несмотря на пошлость, тоже не чужд благоговейного, почти «религиозного» отношения к женщине [Маркович 1989: 94; Виноградов 2021b: 290–291].) С.В. Синицкая (Александрова) в 2010 г. указала на еще несколько мнимых, шутовских «спасителей», вроде героя Сервантеса, в ряд с которыми может быть поставлен «дон-кишот» Поприщин (стремящийся «спасти луну»). Из них наиболее выразительны сумасшедший Тригей в комедии Аристофана «Мир», озабоченный судь-

¹ «De origine, natura et fatis poeseos, quae romantica audit».

бой всей страны, и Арлекин в комедии дель арте XVI в. и французском ярмарочном театре¹ [Синицкая <Александрова> 2010]. В связи с лунной темой «Записок сумасшедшего» внимание привлекают итальянский фарс «Арлекин в луне» (см.: [Итальянская комедия 1840: 110–113; Александрова 2001: 60; 2011: 11; Синицкая <Александрова> 2010: 71, 73) и два близких по сюжету и названию французских водевиля: «Bonardin dans la lune, ou La monomanie astronomique» Ш.О. Оноре («Бонар в луне, или Астрономические бредни»; спектакли давались в Петербурге 19, 27 февраля и 10 мая 1831 г.) и «La comète en 1832» Ш.О. Оноре и Г.М. Дюмерсана («Комета в 1832 году»; в вольном переводе Н.Ф. Павлова – «Астрономические бредни, или Комета в 1832 году»; первоначальное, запрещенное цензурой название – «На другой день после преставления света») (пьеса была поставлена в Большом театре в Москве 20 января 1833 г.; роль «полоумного астронома» Бонардина играл в ней М.С. Щепкин) [Гозепуд 1959: 622–623; Гриц 1966: 749]. Об одном из представлений водевиля «Астрономические бредни, или Комета в 1832 году» 9 октября 1833 г. в Москве «Северная Пчела» сообщала спустя несколько дней, 20 октября [Русский Театр 1833: 850–951] [Синицкая <Александрова> 2010: 70–71, 74–75, 80]².

Безумные «Дон-Кишоты» – консервативного и либерального лагерей – в изображении Гоголя одинаково «пошлы». Апостольское обличение в равной мере относится и к тем, и к другим: «...Умеет Господь <...> нечестивых соблюдать ко дню суда, для наказания; наипаче же тех, которые следуют плоти <...>, презирая начальства, будучи дерзки, своевольны, и не страшась злословить высших. <...> ...Они полагают удовольствие во вседневной роскоши...» (2 Петр. 2, 9–10, 13) (цит. по изд. 1822 г.: [Новый Завет: 553–554]). «Политический идеал» Поприщина (и его «двойника»-начальника) – «во что бы то ни стало взять верх» над другими (повесть «Рим»; III/IV, 186), «проехаться на другом верхом» (повесть «Вий»; I/II, 442) – с наглядностью воплощается в финале повести, где герой воображает себя испанским королем. Парадокс заключается, однако, в том, что обличитель женщин, влюбленных «в черта», и их «чиновных отцов»-«христопродавцев», лезущих «ко Двору» и говорящих, что «они патриоты» («аренды, аренды хотят эти патриоты»; III/IV, 172), Поприщин в полной мере – как выразитель единого «душевного города» повести – обличает собственные спесь и пошлость. Саркастическое обличение псевдопатриотизма одинаково относится и к лицемерным «консерваторам», и к их противникам – задиристым «петухам» обеих сторон: «...Я узнал, что у всякого петуха есть Испания, что она у него находится под перьями» (III/IV, 176). (Здесь же Гоголь подчеркивал универсальный характер своей сатиры, «подсказывая», что «Китай и Испания совершенно одна и та же земля, и только по невежеству считают их за разные государства»; III/IV, 174). (Слова о «петухе» в то же время могут намекать и на отречение от Христа, из желания себя

¹ О знакомстве Гоголя с петербургскими балаганными представлениями французских и итальянских пантомим (посещаемых Поприщиным) см.: [Виноградов 1999].

² В самих «Записках сумасшедшего» тоже отмечен ряд водевильных черт. Традиционными литературными и театральными приемами являются, в частности, мотивы «перехваченного письма» и «узнавания героя» («Ведь сколько примеров по истории: какой-нибудь простой, <...> даже крестьянин, – и вдруг открывается, что он какой-нибудь вельможа, а иногда даже и государь»; III/IV, 169). «Водевильность» действия проявляется в финале повести, когда Поприщин прячется под стул, а «великий инквизитор» выгоняет его оттуда «палкою» (III/IV, 175–176). В «Театральном разезде после представления новой комедии» сам Гоголь писал: «...Поезжайте только в театр: там всякий день вы увидите пьесу, где один спрягался под стул, а другой вытащил его оттуда за ногу» (III/IV, 454) (отмечено: [Кузнецов 1992: 38–39, 41–42]).

спасти (Мф. 26, 34, 74–75; Мк. 14, 30, 68, 72; Лк. 22, 34, 60–61; Ин. 13, 38; 18, 27); [Долгобородов 1997: 24].)

То, каким герой если не является на самом деле, то, по крайней мере, как выглядит со стороны, он узнает из письма Меджи к ее приятельнице-собачке. Это, хотя и «собачье», послание по своему разоблачительному в отношении героя характеру прямо напоминает, однако, «сатирическое» письмо Хлестакова к его петербургскому приятелю в «Ревизоре», из которого Городничий и его окружение узнают о себе часть правды [Константинова 2009b: 208]. Позднее в письме к М.П. Погодину Гоголь замечал по поводу восприятия публикой «Ревизора»: «Что сказано верно и живо, то уже кажется пасквилем» (XI, 50). Глава уездного города в комедии и мелкий столичный чиновник в повести одинаково пошлы, ограниченны, одинаково не терпят смеха над собой (подобно колдуну в «Страшной мести», убивающему тех, кто, как ему мнится, над ним посмеялся; см.: [Виноградов 2020b: 52–57]): «“Софи никак не может удержаться от смеха, когда глядит на него”. – Врешь ты, проклятая собачонка! Экой мерзкий язык!» (III/IV, 164). И Поприщин, и Городничий оба одновременно и либеральны – в снисхождении к себе, и консервативны – в отношении к другим. Обоим в ответ на правду о себе может принадлежать реплика, которую Гоголь вложил в уста «одного чиновника» в «Театральном разъезде после представления новой комедии»: «Это пошлая, низкая выдумка, это сатира, пасквиль» (III/IV, 460).

Сведения об авторе:

Игорь Александрович Виноградов,
доктор филол. наук
главный научный сотрудник
Институт мировой литературы
имени А.М. Горького РАН

Igor A. Vinogradov,
Doctor of Philology
Chief Researcher
A.M. Gorky Institute of World Literature RAS

iwinigradow@mail.ru